

СУХБАТ АФЛАТУНИ

Поклонение волхвов



Большой роман. Современное чтение

Сухбат Афлатуни

Поклонение волхвов

«ЭКСМО»

2015

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Афлатуни С.

Поклонение волхвов / С. Афлатуни — «Эксмо»,
2015 — (Большой роман. Современное чтение)

ISBN 978-5-04-113650-5

Роман известного прозаика и поэта Евгения Абдуллаева, пишущего под псевдонимом Сухбат Афлатуни, охватывает огромный период в истории России: от середины 19 века до наших дней и рассказывает историю семьи Триярских, родоначальник, которой – молодой архитектор прогрессивных взглядов, Николай был близок к революционному кружку Петрашевского и тайному обществу «волхвов», но подвергся гонениям со стороны правящего императора. Николая сослали в Киргизию, где он по-настоящему столкнулся с «народом», ради которого затевал переворот, но «народа» совсем не знал. А родная сестра Николая – Варвара – став любовницей императора, чтобы спасти брата от казни, родила от царя ребенка... Сложная семейная и любовная драма накладывается на драму страны, перешедшей от монархии к демократии и красному террору. И все это сопрягается с волнующей библейской историей рождения Иисуса, которая как зеркало отражает страшную современность... Этот роман стал одним из самых заметных в российской прозе последнего десятилетия.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-113650-5

© Афлатуни С., 2015

© Эксмо, 2015

Содержание

Книга первая	7
Конец ознакомительного фрагмента.	109

Сухбат Афлатуни

Поклонение волхвов

Национальная литературная премия «Большая книга»

В оформлении обложки использована иллюстрация:

© Helena / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com



Книга первая Гаспар

Вифлеем, 19 октября 1847 года

Вечером – случилось.

Братья францисканцы напали на греческого епископа и монастырского врача. Те бросились бежать; попытались укрыться в базилике Рождества, распахиваются двери – армяне-священники тихо служат вечерю. В храме – лица, много католиков, есть и православные, шевелятся в молитве бороды русских паломников.

Заварилась суматоха!

По донесению русского консула, «католики набросились не только на бегущего епископа, но и на бывших в храме армян». Во время погрома, по сообщению консула, из пещеры Рождественского собора была похищена Серебряная звезда, указывавшая место Рождества Христа. Звезда принадлежала грекам, подтверждая их право на владение этим местом. Из вертепа были также вынесены греческая лампада и греческий алтарь.

Греки и армяне хлынули с жалобой к наместнику паши в Иерусалиме, но застали у него толмача латинского монастыря, вручавшего протест от имени католиков. Поднялась тяжба; католикам содействовал французский консул, грекам, понятно, русский. Допросили всех. Русские паломники твердили, что ничего не видели, стоял шум великий, и что никакой Звезды отродясь в руках не держали...

Из двух концов Европы, из Петербурга и Парижа, за тяжбой следили внимательно, как за шахматной партией, разыгрываемой на священной, залитой кровью доске. Некоторые объясняли осложнившееся положение влиянием новой кометы, которую разглядела в осеннем небе госпожа Митчелл, женщина-астроном.

Санкт-Петербург, 23 апреля 1849 года

– Триярский Николай Петрович!

Комната упала на него, как кувшин с ледяным молоком.

Среди толпы, свезенной в то утро со всей столицы и наполнявшей собою залу, особо выделялся один молодой человек. Был он еще полный ребенок, акварельный юноша, с бледным, от известной скупости нашего северного солнца, цветом лица. Добрые его глаза глядели полным непониманием.

– Архитектор Николенька Триярский!

Комната кололась и просачивалась даже сквозь сжатые веки.

Третье Отделение.

Собственной.

Его Императорского Величества.

Канцелярии...

Пронесли поднос со стаканами.

В каждом стакане качалась все та же комната. С искаженными, разломанными на грани лицами.

Спешнев, братья Дебу. Зачем они здесь? Для какой надобности эти мужчины были выплеснуты из мирных утренних постелей, сдернуты с подушек, на которых еще лежат их опавшие во сне ресницы?

Испуганные рукопожатия. Студень петербургского утра за казенными портьерами. Он двигался вокруг знакомых лиц, узнавая, удивляясь и закусывая губу. Данилевский, Ахшарумов, Дуров, Европеус. Знакомые лица всплывали в его синих весенних глазах.

– Недоразумение, – шептали голоса горячо, но неуверенно.

Плещеев, молодой Кашкин. Не узнавая, пронесся Достоевский, литератор. Еще лица, знакомые по философическим пятницам у Петрашевского. Борода самого господина Петрашевского промелькнула.

– Вот те, бабушка, и Юрьев день!

«Действительно, – подумал Николенька, – сегодня ведь Юрьев день».

Он был молод, красив и считал себя фурыеристом.

Прозрачный юноша с тонкими, дымящимися волосами. С многообещающими ресницами. Волосы причиняли неудобства, особенно при чесании гребнем; ресницы привлекали женщин, тем самым тоже доставляя неудобства: с недавнего времени вел Николенька жизнь замкнутую. Не из робости – по убеждению. Читал «Le Nouveau Monde Industriel et Societaire» г-на Фурье; воспламенялся, отбрасывал книгу и расхаживал по комнате. Из книги, даже в закрытом виде, веяло какой-то весною, туманом будущего устройства. Размышлял, прогуливаясь по Летнему среди статуй, тающих рафинадами в сумерках; иногда бросался на скамейку и начинал чиркать грифелем, на пальцах оставалась черная пыльца. Густели внешние сумерки, покрывались письменами листы, чтобы ночью, по перечтению, предаться огню.

Санкт-Петербург, 27 апреля 1849 года

Затянули с утра колокола, рассыпая над городом ледяные букеты мелодий. Николенька в камере загибал пальцы: 27 апреля. Преполовление Пятидесятницы.

Крестный ход по стенам Петропавловской крепости. Двигутся потоки, благословляя стены Николенькиной темницы. Толпы осыпаются колокольным льдом, продуваются ветром бороды, разматывается кадильный дым. Ядый мою плоть... Десятки ног движутся, кроша стеклянные ободки луж, всплескивая яичное отражение собора.

А в камере дверь отпирается – человек с тазом для умывания. Николенька лицо арестантской водою кропит. Человек выносит судно с Николенькиными произведениями и возвращается с метлой... В соборе служба, и льется утро из театральных окон на алтарь, Ивана Зарудного творение... А Николенька сидит сверчком в камере, декора самого скромного: стены и потолок; на стенах свежие царапины – выскоблило начальство письма предыдущих постояльцев, чтобы чтением новоприбывший не развлекался... В соборе свечи и служба, и самодержцы, тут же, при архитектурных шедеврах захороненные, поднимаются духовно и кивают. А Николенька в камере не кивает – некому кивать: одни стены и крысы, и оконце высоко, свет из него – молоко створоженное. Собор шпилем солнечный луч ловит, и давай в световые игры играть, и вся колокольня зарумянилась от утреннего поцелуя Феба языческого, и портал пред фальшивой дверью, над порталом – люкарна, над ней аттик. А Николенькина горница темна, и человек водит метлой по полу, поглядывая на арестантика сердитым глазом.

Кормили в крепости хорошо, сытно кормили. Обед из двух блюд. Щи или похлебка с накрошенной мелко говядиной. Кашка, гречневая или пшенная. Хлеба вдоволь. Сиди, арестант, накапливай жир, думай о раскаянии. Как нянька учила: хлеб в левую руку, ложку в правую – и поехали. Вот она, каменная государственная нянька, так о тебе и заботится. И ножа с вилкой, как в детстве, в руки не дает. Опасается самоубийств: бывали случаи.

Николенька же, по привычке и чтобы с ума не сойти, заводил беседы с самим собой. Шлепал, волоча холодные туфли. Выкашливал монологи: о равенстве, о религии, о свободе.

Через замочную щель помаргивает тюремщик; тоже человек, по образу и подобию, с бесмертною любознательной душою. Наблюдает.

Николенька же вдруг хриплым романсом разразится: ревела буря, дождь шумел... Во мраке молнии летали. И, хотя не полагаются в казематах романсы, заслушается тюремщик. Пусть себе барин выводит загогулины. Бесперерывно гром гремел, и ветры в дебрях буше-

вали... И видится Николеньке среди бушующих дебрей дача Буташевича-Петрашевского, окна выжелчены, внутри дебаты. Сам хозяин бородеет над столом, меж агитации чай нервно похлебывая. Поглядывает на спорящих, чтобы самому чашку в сторону – и в спор. «Социализм, – привстает, – социализм, по-вашему получается, изобретение нашего века, вроде паровоза или светописи... Однако, господа! Социализм вообще есть результат развития, а не прихотливая выдумка нескольких причудливых голов!» И снова – в чай, голова причудливая... Николенька пока помалкивает, крошкой на скатерти играет, впитывает. А за окнами в стекольной дрожи – ревет буря, и дождь шумит; горько пахнет весною. И труп, извергнутый волной, в броне медяной озарился. Аккорд, еще аккорд, и – тсс! – лишь струна над заливом замолкает.

Санкт-Петербург, неизвестного числа, 1849 года

Календарь распался. Развалился, как картофель в арестантском супе. На допрос не вызывают, томят.

Николенька – в безвременье – разгуливает по камере, биографию свою на случай допроса репетирует.

...Николенька родился в марте 1829 года в городе Северо-Ордынске. Оба родителя напминали больных муравьев, неспособных к труду, а только к кофею и философствованию о ценах. Батюшка происходил из гордого польского шляхетства, из которого под воздействием среднерусского климата за три поколения выдохлась вся гордость. Водянистые Папенкины глаза одушевлялись только при карточной игре, до которой он был охотник и через которую доставлял Маменьке большое неудовольствие. Сама Маменька, в девичестве Бухаринцева, имела в себе пламенное начало и игривую персоналию, опять-таки поблекшую ото мха житейских обстоятельств и частых родов. Роды с годами все больше ей досаждали, она делала Папенке ультиматумы, но тот, погруженный в рассеянность, все не исправлялся. Трудно сказать, что подвигало Папенку к чадородию: вечерняя ли порция Бахуса или скрип кровати, аккомпанировавший зарождению новой жизни? Туманный, добрый человек был Папенка. Засаленные карты, кисловатое вино, деревянный ноктюрн супружеского ложа. Так произвелись на свет Божий шесть маленьких Триярских. Николенька был третьим из рожденных, вторым среди выживших.

Сохранился карандашный портретец, списанный с Николеньки шести лет. Воздушным прикосновением грифеля рисовальщик отобразил пухлые Николенькины щеки; небрежными штрихами легли волнистые локоны, которые перед позированием няня драла гребнем под звучный глас юной модели. Наконец фон за спиной Николеньки был намечен пляшущими росчерками, в модной манере г-на Кипренского. Здесь ордынский Апеллес налег на грифель во всю силу, и фон вышел вроде смерча, девятого вала или Везувия, в чем можно было бы даже углядеть намек на будущую Николенькину судьбу. Правда, в натуре за спиной Николеньки помещался не вулкан, а блеклые обои с райскими птичками, похожими на породистых ордынских мух. Что, пожалуй, удалось г-ну рисовальщику, так это Николенькины глаза, удивленно глядящие из всей этой пляски росчерков и штрихов. Хотя карандаш был не в силах передать цвет этих глаз, при взгляде на портрет не остается сомнений, что они именно синие. Ибо, как писал французский сочинитель, чьи стихи Маменька в молодости списала себе в альбомчик: «Цвет глаз есть зеркало стихий. Карие глаза – отражение плодородной земли; зеленые – покрывающих ее трав и прочих растительностей, серые – живительный дождь и тучки, его сотворяющие; но любезнее всего Гениям и Духам Натуры глаза синие, цвета небесного и, следовательно, Божественного!»

Вот такими глазами и глядел на мир Николенька, словно синева французского юга или благословенной Авзонии вдруг проступила в глазах северного отрока, зачатого под скрип пола-тей и жужжание ордынских мух.

Саму жизнь в Северо-Ордынске Николенька почти не помнил. Семейство отъехало в столицу, когда было ему всего девять лет. Иногда приходила мысль, что Ордынск был выдуман: напрасно он, уже взрослый, будет искать его на географической карте империи. Напрасно будет водить пальцем по ее рельефам и впадинам. Исчез, растворился Ордынск среди зеленых низменностей, желтоватых предгорий и коричневых вершин, опушенных ледниками. Широка империя родная! И Ордынск-городок исчез на тебе, закатился, как горошина за шкаф, и теперь одним только паукам известно, где он пылится, прежде чем рассыпаться в небытие. А что пауки? Что им до какого-то Ордынска? Плетут и плетут себе паутину.

А может, переименовали его к тому времени. Любит отечество наше играть именами городов, особенно маленьких, беззащитных, вроде Ордынска. Вцепится такой городишко своими ручонками в прежнее имя, кричит, а оно, двуглавое, – ать, и одним ногтем швырк прежнее имя в сторонку, в Лету, небытие, и: «поздравляем-с с присвоением нового наименования»; оркестрик: трам-грам-пам-пам! Барышни: фью-фью-фью-фью! Солдатики: ура-а-а... Городок: сидит, голенький, ободраный, при новом имени – привыкает.

Так что, может, красуется теперь Северо-Ордынск на карте под новым именем. И школьники его уже по-новому называют, и новый городничий, принимая в попечение пространстишко с осклизлыми трактирами, рынком, казенными заведениями и гордо парящими надо всем этим мухами, уже не знает его прежнего, благородного татарского названия. Может, только какая-нибудь уездная баба-яга, облепленная хитроглазым внучем, забудется и прошамакает: «А вот у нас в Ордыншке...»

Кое-какие воспоминания о Северо-Ордынске у Николая Петровича все же сохранились. Всплывала улица с огромным забором; к забору подвешивалась исполинская фигура няни; няня шла крупным сердитым шагом, за которым Николенька не успевал; полняни составляла ее широкая, в бурлящих складках, юбка. Николенька держался одной рукой за нянину руку, а второй, как утопающий, пытался ухватиться за лохматую юбку, за один спасительный ее узорчик. Но узорчик этот все улета́л в сторону: Николенька понимал, что отстал от няни, что и второй рукой он уже оторвался от нее, и няню с ее богатырскими шагами не догнать... И в этот момент, когда из глаз уже готовы были захлестать фонтаны, в этот самый момент вдруг происходило – оно... За мутью обиды вдруг поднималась волна синего хрусталя, сквозь который горело солнце: свобода! Глаза высыхали, губы взрывались – без одного переднего зуба – улыбкой. Руки, только что тянувшиеся к душному колоколу юбки, вдруг взлетали куда-то в небо, унося Николеньку. Забор таял внизу; за ним открывались скудные северные сады с приживалками-яблоньками и тоже таяли. Николенька бежал, размахивая руками, и улица опускалась под ним, вываливая под ноги конфеты дворов, палисадников, крыш и пустырей. «Николенька!» – приседала няня, поднесла ладони ко рту; Николенька убежал, улета́л в белое от голубино́го взрыва небо. «Николенька!» Летели дома, крыши в слезах птичьего помета, площадь, рынок, где торговали сахарным петушком, халвой и другими необходимыми детству вещами... Так и парил Николенька, пока могучая нянина рука не совлекала его с небес, не отряхивала от песка и не вела, под сердитый плеск юбки, домой...

В Петербург семейство перебралось в году 1836-м.

Въезжали в столицу утром 27 января, огромные дома обступили карету и нависли над ней всею архитектурой. Николенька, приболевший в дороге, почувствовал себя странно здоровым. Он рвался из повозки, кусал сырой, сдобренный копотью воздух. Потом его снова накрыло облаком болезни. Пронеслась в этом облаке, блеснув траурным лаком, карета. Карета просвечивала, и можно было углядеть двух седоков. Один говорил: «Если я встречу отца или сына, я им плюну в лицо... плюну в лицо... плюну в лицо...» Карета сворачивала: «Не в крепость ли ты меня везешь?» – спрашивал тот, кто обещался плюнуть в лицо отцу и сыну. «Не в крепость ли?» Да, вот она, Петропавловская крепость, с бледным своим шпилем. «Не в крепость ли ты меня везешь?» – помнит огненные тела своих друзей, исчезнувшие в крысиной

ее глотке, чтобы потом возникнуть на валу ее в нелепом наряде, который им, прежним франтам, так не шел... Не в крепость ли ты меня везешь?! «Нет, через крепость на Черную речку самая близкая дорога». Да, да, через крепость самая близкая дорога – и на Черную речку, и в Сибирь, и на Кавказ к горцам, где пули соловьиным свистом прорезают душную виноградную ночь. Но чу! Карета четверней навстречу, ампирное дыхание мехов: граф В. с супругой. «Вот две образцовые семьи. – И, заметив, что Данзас не вдруг понял это, уточняет: – Ведь жена живет с кучером, а муж – с фореитором». Николенька, слыша все – хотя повозка уже давно разминулась со странной каретой, – не понимает смысла: отчего такие чудеса, что жена живет с кучером?... «Неужто же и Маменька теперь от нас отселится и станет жить совместно с кучером? Однако это совсем неудобно». Из таких мыслей Николеньку выводит неожиданный звук выстрела. Человек, сидевший в прозрачной карете, летит на снег. «Кажется, раздроблено бедро... раздроблено бедро... бедро...» Люди в черном бросаются к нему. Путь обратно: снег, Петропавловская крепость, Нева в щегольском саване...

Так протекали первые дни петербургской жизни Николеньки, наполненные детским бредом, совпавшие с чужой, в кровавых слухах, агонией. Дайте воды, меня тошнит... Скажите государю, что умираю и прошу прощения за себя и за Данзаса... Жду царского слова, чтобы умереть спокойно... Приносят письмо от государя: государь просит исполнить последний долг христианина и причаститься. Государь пишет: «Не знаю, увидимся ли на этом свете». Государь обещает взять «жену и детей на свои руки». О, у государя надежные, как полированный мрамор, руки. Умирающий тронут: я желаю ему долгого, долгого царствования... Отдайте мне письмо от него, я хочу умереть с ним. Письмо! Где письмо?... Что это? Касторовое масло? Да зачем же оно плавает в воде? Сверху масло, внизу вода... Морошки, морошки... Жизнь кончена, тяжело дышать...

Николенька открыл глаза.

За окном летел снег. Рядом, при свече, сидела няня, отбрасывая длинную хлопотливую тень. «Няня!» – позвал Николенька. Няня подняла доброе, подкрашенное свечным отсветом лицо. Не зная, что делать с обрушившимся на него счастьем, Николенька заплакал.

Плакал он и теперь, на лежанке. Жизнь, начинавшаяся блеском, вдруг взметнулась и рассыпалась, как от распахнутого зимнего окна.словно на Рождество, когда уже все готово, взрослые полусшепотом движутся вокруг елки, пеленая ее в гирлянды, а детей томят в детской, и вдруг – окно! Ненадежно закрытое, рушится в зал, рассекаясь на тысячи брызг. Ветер тушит свечи, сбивает елку. Дети, испуганные звоном разбитого праздника, застывают. Потом мир взрослых перейдет в хлопотливое наступление: заткнет рогожкой раму, воскресит елку. Наладит свечи, нацепит уцелевшие игрушки. Но будет уже не так: сказка кончится, кончится сказка!

Санкт-Петербург, 2 мая 1849 года

– Пожалуйста к допросу!

В дверях фигура. Лицо озарено снизу: щербатый подбородок, рот куриной попкой. Глаза в тени, одни веки наружу.

Николенька поднимается. Освещенный подбородок приближается, пламя мнется от сквозняка. За фигурой – еще одна: намечена одними медными пуговицами.

Открывается двор в снегу, у Николеньки от свежести голова идет кругом. Наклонился, отщипнул снега, обтер лицо. Земля снова окрепла, по ней заскрипели через двор к комендантскому флигелю.

Вошел во флигель и провалился взглядом в зеркало. Испугался себя: сорочка почти черной стала. Засуетился, пряча воротнички за галстук и застегивая сюртук доверху. И в зеркале закопошились, возились с пуговицами, душили себя воротником.

Зал. Зеркало, но уже другое. Оправа солиднее и по бокам амуров при амуниции: стрелы, колчаны; античная похоть в глазах.

– Господин Триярский, вы живете на свете не первый год? Вы ведь не первый год живете на свете? Извольте не кивать, а отвечать устно. Итак, вы признаете, что не первый год живете на свете, оттого и должно быть известно вам, что лишать человека свободы без удовлетворительного фундамента невозможно. Вы лишены свободы вот уже, кажется, десять дней, а потому имели время исследовать себя и доискаться. Сообщите следствию о результатах ваших исследований, о сорняках, которые вы должны были в себе открыть. Впрочем, комиссия делает этот вопрос, так сказать, для формы, потому что комиссии известно все и давно... Что? У вас в камере крысы? Нет, к крысам мы не имеем отношения. Впрочем, с ними мы тоже ведем борьбу и совершенствуем мышеловки... Итак, не заводились ли у вас, господин Триярский, вредные знакомства?

Позолоченная стрела, сорвавшись с лука, просвистела рядом с Николенькой, пронзив парчовую скатерть...

Начнем по порядку. Той зимой занемогла Маменька. Всегда жаловалась, что зима – ее убийца, здешний снег нездоров; к этим жалобам все привыкли, силы медицины в лице Петра Людвиговича только разводили пухлыми руками. Явились первые капризы. Маменька стала требовать ежедневных докладов; иногда начинала требовать кисленького. Николенька, когда являлся к ее постели, тут же притягивался к самому ее уху; как-то, растратив все новости, доложил ей про господина Фурье и хрустальные дворцы. «Это общество будущего, Маменька! Там будет множество садов, зимы будут уничтожены, и вы воскреснете. Вам выделяют отдельную комнату, и специальные машины будут вам ежедневно доставлять кофей». Слово «будущее», вообще на всех матерей действующее нехорошо, надуло на Маменьку целую бурю из *Короля Леара*. Она побледнела и стала просить кисленького.

– Кисленького!

В комнату, шумя платьем, входила няня с лимоном на грязной тарелочке.

Была за Маменькой такая слабость: *лимончик*. Особым ножиком раздевала свое кислое сокровище от кожуры; кожуру потом осыпала сахаром и употребляла отдельно. Иногда в этих занятиях Маменьке составляла компанию сестра Варенька. К лимону подавался чай, заправленный таким количеством сахара, что подглядывавшая за этим няня только качала головой... Но потом Варенька выпорхнула из семейного гнезда, причем со скандалом, и Маменька в своих лимонных увлечениях осталась без компаньонки. Вскоре Маменька простила Вареньку и даже уломала на то Папеньку, который, едва заходила речь о его «Корделии», затыкал уши. Родители кисло благословили Варенькин мезальянс, и Маменька стала слать ей по праздникам записки, приглашая «на лимончик». И та приезжала, пока не уехала в Новгород – угасать окончательно.

Что же касается Папеньки... Маменька, болтая чайной ложечкой, жаловалась: «Если бы Папенька умел пользоваться своими связями, он давно был бы...» Следовали гипотезы: Папенька – тайный советник, посланник на острове Мальта, на худой конец – сочинитель романов. От последней вакансии Папенька отмахивался: чтобы кропать романы, одних связей мало, нужно еще быть изрядным прохвостом. И выходил из комнаты, пытаясь хлопнуть дверь; двери, однако, были туги, и грома литавр не получалось. Николенька обнимал плачущую Маменьку и спрашивал, что есть такое эти «связи». Маменька сморкалась и затруднялась в формулировке. Получалось, «связи» – какие-то старухи, с которыми Папенька был охотник спорить и делать им неприятное, или Генерал, которого Папенька из амбиции не поздравил с Днем Ангела... Постепенно Маменька успокаивалась и смотрела Николенькины рисунки. Глядя его по пушистым кудрям, она хвалила и делала замечания. Выставки заканчивались лобызанием и призывом Папеньки из соседней комнаты для примирения родных сердец. После очередной такой комнатной драмы Папенька тут же, не слезая с котурнов, начертал прошение в правление Императорской Академии художеств: «Имея сына и желая посвятить его художе-

ству, прошу принять его в число сверхштатных академистов в силу параграфа 2 прибавления к уставу Императорской Академии художеств».

Так Николенька стал академистом.

Стал изучать начала физики, для познания главного свойства земель, огня, воды и воздуха; начала химии, для познания свойств строительных материй; а также начала ботаники, для познания разных родов строевого леса и теорию ортеологии, или искусства располагать увеселительные сады.

Начались гипсы; перед копированием с них сметали пыль, Николенька чихал. Срисовывали с образцов; наставники возникали за спиной, прохаживались карандашами, подправляя, и снова растворялись в академической тиши. Питомцы чертили разряды по системам Виньолы, Скамоция и Палладия; Николенька – апчхи! – преуспел в коринфском разряде, за что получил устное поощрение.

Перешли к копированию чертежей; выступили из тумана и гипсовой пыли и собственные проекты: храмик, балюстрада в античном духе. Наставники, Мейер Христиан Филиппыч, Брюллов Александр Павлыч и другие, нахваливали – кто больше, а кто экономнее, чтоб юноша не зазнавался и продолжал подавать надежды.

А кругом пенились споры об архитектуре и каковой ей быть. В Академии еще стоял дух классицизма, но кое-где уже пооткрывались тайные форточки и зашныряли сквознячки эклектики. Причем форточки эти порой приоткрывали сами же корифеи. Сами в своих постройках нет-нет да и в готику ударятся – вознесутся мохнатыми шпилями. Или с кондитерским прищуром выпекут барочное пирожное, кремами оплывающее. И вот уже юные дарования начинают в запачканную грифелем ладошку над классицизмом посмеиваться и похаживать во враждебные ему сады: в готику да в византийство. Бродит Николенька, оглядывает работы академистов: «Колокольница в барочном вкусе», «Торговые ряды в готическом вкусе», «Дом для отдачи в наймы в венецианском вкусе»... Вкусов много, вкуса – никакого; повоскрешали прежние стили, ветхий салоп из комода вытянули, наскоро от насекомых обдули – и на себя. А что дыры в нем, так они эти дыры еще какой-нибудь тряпицей, китайской или византийской, прикроют, и давай проекты.

И начинает Николенька с еще большим жаром здания в классическом духе чертить, так что даже некоторые из наставников косятся: колонны и портики, конечно, дело надежное, да с модой неуживчивое. Сам государь разнообразие в архитектуре всемилостивейше терпит, лишь бы все было гармонично и благонамеренно. Николенькин же классицизмус все больше вольнодумством дышит, всякими стеклянными стенами и металлическими сводами.

А тут еще Николенька приволок и поставил на обозрение проект церкви, тоже все в стекле и устремлении. «Соблазн!» – топнули наставники. «Соблазн, соблазн, соблазн...» – разнесло эхом по зыбким коридорам, по складам гипсовых геркулесов, по комнатенкам, где возле печей приплясывали, греясь, натурщики. Соблазн! – уже тише и доброжелательнее мурлыкнуло рядом. Мягкая ладонь легла на спину Николеньки, буксируя его в сторонку на разговор, он же – монолог, он же – отеческое, с подмаргиванием, наставление. «Удивляете вы нас, Николай Петрович! Или не рекомендовалось вамознакомиться с изящно изданным альбомом «Проекты церквей, сочиненные профессором Константином Тоном», с отлитографированными образцовыми проектами храмов, высочайшим указом одобренными? Что же вы, Николай Петрович, классицизмом своим дулю-то всем показываете, в русском вкусе строить не хотите? Вот и Константина Андреича – Тона! – своим проектом обидели... А, Николай Петрович?!»

– Николай Петрович!

Николенька почувствовал на спине руку – дознавателя? Или амур коснулся?

– Все, что вы нам сообщили об архитектуре, крайне интересно... Однако следствие более интересуют ваши вредные знакомства...

В это самое время, когда Николенька заявлял о своей невинности, в город через Нарвскую заставу въезжала повозка. Внутри тряслась молодая особа, рядом посапывал мальчик. Особа выказывала нетерпение. Дурная весенняя дорога растрясла ее; прическа расстроилась, мысли сбились. Сынок Левушка – маленький тиран и копия своего родителя – всю дорогу ныл... Иными словами, путешественница только и ждала, как поскорее прибыть в Петербург и упасть в родительские объятия, а лучше сразу на кушетку и забыться от дорожных истязаний. Даже мысль о брате как-то заслонила этой кушеткой и чашкой чая с лимоном.

Поплыли первые петербургские огни. Лицо ее вдруг осветилось, и стало видно, как похожа она на Николеньку Триарского.

Мутноватый свет фонаря не соврал. Особа была Варварой Петровной Маринелли, урожденной Триарской, старшей сестрой Николеньки, вышедшей замуж пять лет назад за моральное чудовище; вкусившей черствые ватрушки родительского деспотизма, затем прощенной вместе с чудовищем; бежавшей год назад от дороговизны в Новгород, где жизнь окончательно потеряла вкус и цвет, и откуда Варвара Петровна была вызвана задыхающимся письмом Маменьки: «Светик мой Варенька! Незапная трагедия посетила наше семейство! Посажен в Крепость Николенька, нашаливший по политической части и одурманенный какими-то хрустальными дворцами, которыми теперь бредит молодежь, и твой умник братец туда же. Забрали его Юрьева дня, и пришлось мне, больной, начать хлопоты, оттого что Папенька уже давно весь в своих преферансах, а когда я ему про родительский долг напоминаю, говорит, что своими хлопотами мы только намутим, а надо быть разумными фаталистами. И, пока Папенька свой разумный фатализм проповедует, Николенька в Крепости, и угрожает им каторга или даже не в силах написать что. Уж так я по разным департаментам за эти дни истаскалась, еле на ногах. Дружок мой Варенька! Если не обросло твое сердечко камнем и дорог тебе братец твой Николенька и...»

Варенька Маринелли еще раз перечитала письмо, едва различая в темноте и тряске Маменькины иероглифы, и откинулась назад, сжав губы.

Санкт-Петербург, 17 мая 1849 года

Волокно ожидания. Утро, день, ночь. Обед из двух блюд. Щи или похлебка с накрошенной говядиной. Кашка, гречневая или пшенная. Ложка оловянная мягкая, чтобы членовредительство не сотворить, бывали случаи. Утренняя уборочка, ших-ших по углам, хлоп-хлоп глазом на Николеньку: эх, барин... А за решеткой уже июнь собственной персоной, с духовой, гороховым духом мокрой земли и господами белыми ночами. Другое время радовался бы Николенька этим прозрачным господам, а теперь только сморгнет накипевшее воспоминание – и снова на лежанку, в царство чистой мысли. Иногда, правда, поднимется в душе рой грез, начнет Николенька гонять себя по камере. В глазах синее пламя, на челе пот бисером. Ходит по камере, бормочет, вспоминает...

Пятница у Петрашевского, среди дебрей. Накурено до сизых облаков; пили чай, умствовали об общественном устройстве.

– Церковь освободила только от страха смерти, но не от смерти самой.

– Для того чтобы освободиться от этого страха, не надобно церкви; сегодня, господа, возшло солнце новой позитивной науки – психологии!

– Видали мы эти науки!

– Психология, господа, и только психология! Эксперимент, точнейшее наблюдение над нервными тканями, опутывающими нашу физическую личность вроде паутины.

Дальше – сливающимся гулом:

«А церковь куда же?» – «Ее на две части. Одну отдать будущему государству, государству равных». – «При равенстве не будет государства». – «Будет, никуда не денется!» – «Не

будет. Или государство, или будущее, которое есть хрустальный дворец». – «Хрусталия не нападетесь». – «А это уже наша забота». – «Так какова же участь церкви? Фурье, однако, стоит за ее сохранение». – «Половина ее отойдет государству, но без пережитков, а религией ума и света». – «Хрустальные дворцы». – «Вторая же часть церкви отойдет психологии, как науке будущего; место попа, господина, займет психолог!» – «Представляю психолога с причастием!» – «Хрустальные дворцы, кругом газовое освещение и эмансипация женщин». – «Второе пришествие, господина, это пришествие психолога, знатока человеческой натуры». – «Эмансипированная женщина, облаченная в солнце». – «Однако ж азиатский вопрос, господина, дьявольский азиатский вопрос!»

Николенька – в дебрях – ежится воробьем; платоновский мир идей завис над столом куполом табачного дыма. От перестрелки гипотез и социальных прожектов гудит в голове; шуршат в воображении чертежи хрустальных дворцов с эмансипированными женщинами и любезными, говорящими слегка в нос психологами.

– С точки зрения архитектуры... – начинает он.

А за столом уже обсуждается азиатский вопрос: должна ли Россия простираť свои границы далее в Азию или же ее место в квартете европейских держав?

– Должна!

Глоток чая, резкий клац чашки о блюде.

– Позвольте...

– Азиатские народы примут Россию, но не нынешнюю, с ее варваризмом, лишь слегка подсахаренным просвещением, не нынешнюю!

– А где ж вы сыщете другую Россию? Россия есть Россия, вот первейший закон логики, закон тождества; другой она не станет – ни по шучьему веленью, ни по хотенью мсье Фурье!

Клац о блюде.

– Сказали! «Россия есть Россия» – тав-то-ло-гия! России, господина, покуда нет, она есть проект, вроде архитектурного; покуда же мы до сих пор имеем Русь, а возможно, Золотую Орду, слегка подпудренную Петром. Или даже Скифию... Россия покуда только в головах!

Услышав про архитектурный проект, Николенька опять вскипел и даже слегка приподнялся над чашками и баранками. Все вдруг замолчали, словно кто-то неловким вздрогом опрокинул варенье. Глаза, еще в горячем тумане дискуссии, устремились на Николеньку.

А Николенька, боясь, что сейчас у него отберут эту хрупкую тишину, заговорил:

– Да, вот вы сказали «проект»: точно выразились. Я, как обучаюсь по архитектурной части, так сразу и подумал на это, что правильная мысль прозвучала и не хватает у нас архитектуры. Сравнимся с Европой – сколько возведено там, и сколько у нас; это же сказать... И еще: вы тут о психологии горячо говорить изволили и апологию целую ей изобразили; но психология есть наука частная, о человеческой душе, которая если вычесть из души всю религию, как вы хотите, то... Совсем частная вещь окажется, как же вы на ней будущее-то возведете? Среди просторов наших, которые вы Ордою сейчас остроумно назвали, потому что они действительно Орда и дикое поле, а вы туда психологов хотите зашвырнуть и эмансипацию... Что же они там в этих просторах и лесах первобытных сделают? Разве только лешего просветят и кикимор наэмансипируют! – Николенька засмеялся, но никто не подхватил; он заметил, что и слушателей стало меньше; лица оставшихся сузились и смотрели с хищным вниманием. – Нет, я, конечно же, целиком за психологию, аплодирую ее успехам и так далее, но не торопимся ли мы, видя в ней всеобщее лекарство от нашей действительности? Не нужно ли вначале обустроить наши просторы, выстроить полезные здания, мосты, дороги наконец?! Обратимся к Европе... Сколько там было всего понастроено за все века, от колизеев и мраморных бань до проекта стеклянного дворца Всемирной выставки! Сколько создано архитекторами до тех недавних времен, когда явилась психология... Вначале была архитектура и эпоха архитектуры, которая есть как бы... психология порядка и общественного разума, ибо здания есть не

что иное, как психологические принципы... Вначале организовать пространство зданиями и произведениями строительства, воспитав в народной душе разумную упорядоченность и привычку к линиям. Вы, конечно, скажете, что уже строили у нас, и что: где, скажете, умственные привычки? Так это же не так, совсем то есть не так! Не так строили, и мало! Одни тесные города строили, все деревом, а если камень, то чистое обезьянничество. Не такое должно быть будущее, нужно прежде революционировать архитектуру, воспитать в ней гражданственность, перестроить обучение архитекторов, так чтобы изучаемые предметы вселяли им в сердце гражданственность, а не... а...

Николенька сбился, покачнулся и оперся о холодную стену. Почти все слушатели успели исчезнуть, раствориться в сумраке каземата. Чадил фитиль; ни стола, ни чая, над которым кипела беседа. Только две крысы, подняв острые морды, внимательно слушают Николая Петровича, не прерывая его речь неуместными замечаниями.

Санкт-Петербург, 1 июня 1849 года

Снова допрос. Снова зеркало с тяжелой, облепленной амурами рамой. Снова призывы к самопознанию и выкорчевыванию внутренних плевел. Разговоры об архитектуре. Сообщение Николеньки о стеклянных домах будущего заслушано с вниманием и запечатлено в протоколе. Туда же заносятся архитектурные мечтания Николеньки на пятницах г-на Петрашевского. «Очень любопытно, – переглядываются по ту сторону парчового стола. – Очень!..»

За окном уже лето; косяками идут грозы, сыпет прозрачными зернами дождь. Во время одного из допросов резко, как когда-то в детстве, растворяется окно, и все бросаются ловить бумаги. А из окна теплыми брызгами залетает июнь, и Николенька едва удерживает губами смех, готовый вырваться навстречу обрушившемуся лету.

Только в каземате снова накатывала... Или накатывало. Он не знал, какого рода это чувство, женского или мужского. Скорее – среднего. Того среднего рода, которым в России обозначаются непонятные и бесполое вещи, вроде «государства», «поля», «болота»... Это «оно» медленно и осторожно наполняло камеру, расстилалось студнем по полу, покушаясь на Николенькину лежанку. Даже крысы, как все-таки существа близкого к человеку образа мыслей, были лучше...

В тот вечер дверь камеры отверзлась с каким-то особенно радостным, мажорным скрипом, словно из увертюры к итальянской опере. «Пожалуйста к допросу!» – пропел в дверях щербатый тенор, помавая свечой. Слетев с лежанки, Николенька запрыгал за певуном, на ходу вкупоривая ногу в сапог. Коридор дохнул торжественной сыростью; за окнами сделалось темно: синяя туча легла на город.

Звонко пронеслись по коридору шаги: ровные, хозяйские – конвоя, прискакивающие – Николеньки; впереди летела, поплеывая кудрявым дымком, свеча. Во дворе пахло вдруг затаившимся где-то наверху электричеством; вдали прогремело, в лицо бросился песок. Свеча тут же погасла; впрочем, она была уже лишней; пролетев двор, шедшие оказались под кровлей. Пять шагов, и первое зеркало выплескивается на Николеньку. На этот раз оно даже ласково к нему и не смакует, как обычно, его беспорядок и неряшество. Отразив почти сочувственно быстрый промельк арестанта – профиль с васильком скошенного взгляда, пустеет за спиной.

Распахиваются двери, и второе, главное зеркало наплывает на Николеньку, отражая завалившуюся набок залу, всю в свечах. Лица те же, но уже чудятся на них лучики доброты, бьющие из-под век. Притоптывание пальцев по столовому сукну, оживление. Потек, ускоряясь, допрос: почти благодушно, с закидом ноги на ногу и развалом в креслах.

За окнами уже клубится вовсю: перевернутою оркестровой ямой на город валится гроза. Николеньке приходится говорить громче, чтобы перекричать стихию. Впрочем, он почти кричит от воодушевления, а из-за стола поощряют его улыбками и пляской пальцев. Николенька

даже сам удивился, как вдруг свободно загремел он о теории Фурье и ее слабых местах; с какой жадной готовностью согласился с кем-то, пискнувшим из-за сукна, что стеклянные дома суть натуральные казармы, в которых вся-то жизнь будет течь на глазах и никаких частных тайн.

– Вот именно, – тряс головой Николенька, – никаких амуров не останется втайне!

За столом хихикнули. Даже свечи, распалившиеся от сквозняков, казалось, усмехались и прыскали.

– С Петрашевским, – неся дальше Николенька, – поддерживал знакомство из учтивости, да и забавно было.

– Что же забавного? – уютно осведомились допросчики.

– Да смешил он нас всегда. Раз явился на дачу ночью в грозу, а мы уж раздевались, в испанском плаще и бандитской шляпе!

– В бандитской шляпе! – развеселились за столом, даже чихнув.

«В бандитской шляпе», внеслось в протокол. За окном тоже взгрохотнуло: рассмешило небесную канцелярию Николенькино сообщение.

Насмеявшись, синклит просветлел.

– Что ж...

Переглянулись.

– Что ж, все показанное вами было проверено и найдено справедливым. Вы, по неразумению и молодости, попали в дурное общество.

И глянули на Николеньку.

Николенька кивнул, еще весь в пару своего рассказа.

Комиссия процвела улыбками. Кто-то, впрочем, еще хмурился, но скорее по служебной привычке: чувствовалось, что Николенька всех растопил.

– Ваша невиновность доказана...

Комната вспыхнула; музыка, заглушаемая разными канцелярскими шорохами, вырвалась, понеслась по залу рыком оркестровой меди: дока-а-а-азана! Подхватили золотозадые амурь, заплодировав крылышками: доказана, доказана...

Тут задирижировал густыми бровями председатель:

– Постойте... – осадил он всколыхнувшегося Николеньку, – погодите и выслушайте. Комиссия не может освободить вас теперь же. Вы арестованы по высочайшему повелению, а потому и освобождение ваше должно быть разрешено высочайшей властью. Государь же в настоящее время отсутствует в городе, и комиссия уже послала представление об освобождении вас... Вероятно, завтра будет получено разрешение, и тогда вы будете отпущены. А пока вы должны вернуться в свой каземат.

Музыка, повисев распадающимся облаком, стихла. Только высунулся рожок фагота, прогундосил:

– Впрочем, как архитектор силою своего творческого воображения приведите свой каземат в изящное и уютное помещение...

И все же Николенька парил. Ирония последних слов председателя, сопровождаемых астматическим смешком фагота, не ужалила; Николенька даже хохотнул на нее, ловко попав в шестидольный проигрыш. За окном еще шалила гроза, но уже потускнела зала; расходились прозрачные музыканты, защелкали футлярами скрипачи; даже фагот, справив трель, умолк. С Николенькой добродушно распрощались; кто-то принялся складывать бумаги.

Каземат глянул на него веселее, но, когда захлопнулась дверь и утекли по коридору шаги, снова кольнуло... «В изящное и уютное помещение», – вспомнил Николенька и с опозданием обиделся. Впрочем, через минуту он уже откинулся на постель и замурлыкал. Николеньке представлялись сцены возвращения домой, всплеснутые руки Маменьки; хороводы младших братьев и охи прислуги...

«Не слышно шуму городского, в заневских башнях тишина», — донеслось откуда-то, с распаренных дворов, с мокрых полосатых будок, с запираемых лавок, от которых метлами гнали прочь воду.

Донеслось и угасло.

Он встретил ее, переходя мост.

В тот июнь Петербург изнемогал под тополиным пухом. Пух летел отовсюду, ложился рубашкой на воды, скатывался под ногами в фитюли, вроде тех, какими прочищают уши и носы орущим детям. Едва поднимался ветер, улицы начинали кашлять и тереть глаза. Николенька дышал в платок, шел на ощупь среди цилиндров и шляпок. Под ногами жили своей ненадежной жизнью доски моста, еще ниже — вода в оспинах солнечных пятен. Николенька чихал, прижимал планшет с рисунками, мост все не мог закончиться и мяукал разошедшейся древесиной.

Николенька уперся слезящимся взглядом в черную морду грифона. За мордой желтели два крыла. В пыльной пасти терялся один из тросов, поддерживавших стоптанный хребет моста.

Николенька чихнул — и увидел ее.

Она стояла в пестром, кричавшем своею убогостью платье. На щеках — мятые розы, губы — свежий порез, открытая рана. Зрачки с золотой каплей — то ли природной, то ли отсвет грифоновых крыл. Пух летел, она ловила его и катала меж пальцев, словно пряла пряжу.

Николенька глянул на нее и еще раз чихнул.

С этого чиха и началось их знакомство. Высыпались из планшета рисунки и вознамерились лететь в канал, а девица принялась их ловить и возвращать рисовальщику. А рисовальщик, он же чихальщик, он же Николенька, преисполнился благодарности. И в носу вдруг полегчало, отчего бы не поговорить со спасительницей?

Но, завязав узелок невинной беседы, он уже не мог его распутать и шел, опутанный, вдоль канала. Волокнистый тополиный блуд осыпал их; Николенька останавливался и чихал, девица желала ему здоровья. Спрашивала позволения снять с волос и воротника его пушиночку и снимала, катая меж пальцев, словно пряжу, а он все больше в ней запутывался. Ибо прикосновения ее были сладки, и в зрачках ее горели золотые капли — то ли природные, то ли рожденные бликами на чешуе канала. И когда они пришли в ее темную квартиру, планшет с рисунками снова был уронен, и снова разлетелись рисунки, но поднимать их не стал никто.

А потом узелок распутался, и слова сами образовывались на языке. «Я грязная», — говорила она. «Ты чистая», — возражал он. «Нет, я грязная». Сказала: «Только не бей меня» — и посмотрела так, словно хотела, чтобы он ее ударил. «Ты чистый», — шептала она уже примирительно, почти сонно, — чистый...»

И он уснул, даже не уснул, а влился в ее сон, заразительный, забирающий в себя. В этом сне она шла по разбухшему от сочной весенней грязи полю, и подол ее платья был облеплен землей, и сама юбка уже прониклась влагой и липла к ногам. «Вот видишь, до чего я грязная», — продолжала она прерванный засыпанием спор, указывая на облепленную земляной кашей юбку. И шла дальше по черному, в горбушках нестаявшего снега, полю. «Ты чистая», — попытался взять ее за руку Николенька и вырвать из влажных объятий земли. «Как тебя зовут?» — вдруг догадался спросить, пользуясь вседозволенностью сна. «Зачем тебе мое имя? — останавливается она и глядит темным, с золотистой изморозью, зрачком. — Оно странное, — шевеление облепленной юбки, черной оплывшей свечи, — ведь я родилась не здесь». Далеко-далеко отсюда, от холодных, стянутых в корсет гранита, питерских рек, от холодных церквей с младенцами, погружаемыми в серебряную воду. Там, на востоке, в степях, где прятались ее родители, где не было ничего вокруг, говорящего или пахнущего по-русски, и родилась она. И не было церкви, где окрестить ее, дочь страха, окунув в плачущую, всхлипывающую именами воду. Так они и жили втроем, передвигаясь по степи, он, она и дочь их, пока не увидели вдаль

церковь и не поняли, что вернулись на родину, то есть к месту смерти. Здесь, чтобы обмануть смерть, они разделились, и каждый пошел своей дорогой, не оглядываясь, по исходящему темным невестинским соком полю.

Тут Николенька зажмурил глаза, потому что засветилась, она и загорелась, и присела, словно в муках рождения, и земля перед нею пошла волной, вздувая мокрым парусом юбку. И от света, вырвавшегося из ее сна в его сон, вздрогнул Николенька и приоткрыл все еще зудящий от тополиной пытки глаз – на узкую ресничную щелку. Она же с выпирающими лопатками сидела внизу и перебирала его рисунки. Заметив его пробуждение, вскочила, сдернула со стула платье, прикрылась.

Так он и изобразил ее: итальянским карандашом, светлеющую в белой ночи, с косой, рассыпавшейся цыганским водопадом на плечи и грудь. Осклизлая нищета комнаты была намечена одними штрихами; штрихами помельче – убогое платье, которым она прикрывала наготу, словно боттичеллиева Венера, родившаяся из пены питерских плевков и нечистот. Платье прикрывало ровные, соборные окружая груди, мягкими куполами впитывавшие в себя солнце и воздух, чтобы вернуть когда-нибудь сытным молоком. Талия добрела в бедрах, богатых, удобных для рождения широкоплечего, горластого потомства. На просьбы Николеньки убрать колючее платье, дав возможность телесным дарованиям тоже запечатлеться в рисунке, мотала головой: «Грязная».

Рисуя ее, теплящуюся стыдом, пытался говорить с ней, что было труднее, чем во сне; она отворачивалась, крупно дышала, сдувала с лица прядь. Удалось лишь вывести, под чирк карандаша, что состоит при прачечной («пращешной»), что скудное жалованье дополняет, временами водя к себе мужской пол, предпочитая благородных, трезвых, недрачливых, а лучше уж сразу иностранцев. Что многих своих посетителей белье она потом узнает в прачечной, среди липкого пара. И что в деньгах она имеет нужду изрядную, потому что он, как художник, может, и не замечает, какая кругом дороговизна, а ей, одинокой, это даже очень хорошо видно. И что если он положит ей вон там, возле свечи, и за полученную ласку, и за срисовывание, сколько не жаль, не торгуясь...

После этой тирады, произнесенной каким-то пыльным, стоптанным голосом, отчего Николенька застыл со своим карандашом, она вдруг разревелась. Почти упала на него, каменного, просила, захлебываясь, прощения, мокро дышала в плечо. И снова плач, и песня про свою грязь; и ночное солнце в окне.

Прощаясь, просила ее не искать, пророчила удачу по художественной линии: «Во мне цыганской крови капелюшка, будущее вижу». Потом отвернулась; шея напряглась, волос – спеленат и поднят неровным куполом. Он понял, выложил к свече все богатства, бывшие при нем. Она стояла, отвернувшись. Подошел, провел ладонями, прощаясь, по платью. Попытался поймать ее губы. Поймал, подержал в своих, отпустил. Вышел прочь, зная, что сейчас она бросится к столу: пересчитывать.

Возвращался пешком. По дороге придумал сказку, чтобы оправдать свой поздний приход, и сам поверил в нее. Но родители слушали его сочинение вполуха. Все заслонила сестра Варенька, уличенная в любовной переписке с неким Маринелли, о котором срочно делались справки, сама же Варенька оглашала квартиру синкопами рыданий. Последующие дни прошли в тех же трагических, но однообразных сценах, в которых Маменька желала видеть Николеньку в амплуа Валентина, вступающего за честь сестрицы Гретхен если не клинком, так поддакиванием ей, Маменьке. Николенька отмалчивался, сторонился всех партий и возобновил привычку грызть ногти. Во всей истории с разоблаченной перепиской его волновало, имела ли Варенька со своим Маринелли такие же свидания, какое пережил он, но спросить об этом он не мог. Каждый был занят собственным несчастьем: Варенька – своим разоблачением, Папенька – «опозоренными сединами», Маменька – миссией спасительницы, ради чего она даже тайно ездила к Маринелли: морально раздавить, а заодно и договориться кое о чем.

Эти семейные маневры были уже совсем за пределами Николенькиного внимания, луч которого сузился на планшете, где среди архитектурных набросков был запрятан *ее* портрет. Дня через два, не удержавшись, полез в планшетик, с рисунков сыпался песок, главного же – не было. Ночью, со свечой, предпринял вторую ревизию и тут обратил внимание на странный, выполненный итальянским карандашом, незавершенный рисунок некоего сооружения, похожего на церковь. Николенька так заволновался, что закапал его воском: он не мог вспомнить, когда и при каких условиях выполнял его, и, чем больше вглядывался, тем больше распознавал в архитектурных пропорциях – *иные*. Проворочавшись ночь, утром уже летел к Банковскому мосту и грифонам; но под чугунными мордами никого не оказалось. Ринулся далее – пух уже не летел, а только сваявшимися остатками качался в канале. Николенька заблудился, закружил, расстроился, устал, облокотился о сырую стену. День был синим и злым, из нависших над Николенькой окон лезли больные, обметанные лица, бормоча адреса, по которым следовало искать... Под вечер он нашел этот дом, стоявший вместо фундамента на слоистых сумерках двора, окаменевших запахах капусты, сена, угля. Повела винтом вверх, то совпадая с его шагом, то обманывая и вышибая пот, помойная лестница. Вот он звонит в колоколец, и старуха настороженно приотворяет дверь, принохиваясь угольками ноздрей, и не знает ни про какую девицу, прачку, «да как зовут ее-то?».

– Господин Триярский!

Он очнулся. Кроме тюремщиков – еще пара лиц, подмигивавших вчера Николеньке и певших о его невиновности.

Ударили колокола собора, птичья стая хлестко вошла в воздух.

– Господин Триярский! Вынужден вам сообщить...

Оба тюремщика сделали шаг к Николеньке.

– Вынужден вам сообщить, что государю по ознакомлении с вашим делом было угодно отклонить представление комиссии о вашем освобождении.

Николенька был неподвижен; стая мазнула гиперболой по небу, рассеялась чаинками и осела по карнизам.

– Государь нашел ваши рассуждения об архитектуре политически неблагонадежными и выявляющими развращенность ума. Считайте, что вчерашнее признание вашей невиновности было вызвано недоразумением... Николай Петрович!

Он слушал колокольные удары. Один... Второй... Дыхание тюремщиков рядом: не отколет ли номер? Второй... Третий...

– Николай Петрович... – приблизился один из старцев, глаза мелкие, марципанчиком. – Мы понимаем ваше состояние, однако поймите, что здесь соображения высшего порядка. Мы постараемся облегчить ваше положение. Ваши условия будут улучшены, вы будете переведены в более удобное помещение...

Последний удар разрossa над Невой – и тут же стал сжиматься, скатываться обратно к колокольне.

Санкт-Петербург, 1 августа 1849 года

Варенька Маринелли опустила в кресло и спросила себе чаю. Прислуга зашаркала на кухню. День был снова отдан хлопотам о судьбе Николеньки. Судьба эта, однако, чем далее, тем более напоминала не светлое облако, но таинственную тучу. Прошения на разные влиятельные имена писались, отвозились, милостиво принимались и не приводили ни к чему. Писались новые прошения на еще более влиятельные имена. И они отвозились и принимались порою с участием, даже с пожатием холодной Варенькиной ручки. Папенька, конвоируемый с обеих сторон супругой и дочерью, ездил к прежним покровителям, был даже обласкан и заслушан. Но и эти прошения словно разбивались о ледяную гору, или сжигал их некий дракон, обитаю-

щий меж Сенатской и Дворцовой. На этих вот тропках, по которым носило Варвару Петровну, перезнакомилась она с другими просителями по тому же делу. Между ними и Варенькой делались совещания и начерчивались проекты совместных маневров, фланговые удары и заходы с тыла на такие влиятельные имена, которые даже произносились шепотом: эти не откажут!

Но и эти отказывали.

Кто-то подсказал, что может повлиять архитектор Тон: «имеет доступ в сферы»; Варенька – к нему, на Екатерининский: «Я знаю, что Николай неуважительно отзывался о ваших творениях, но прошу проявить...» Нет, господин архитектор не держал на Николенку зла и обещал походатайствовать в высоких сферах. «Но дело ведь – политическое», – сказал, прощаясь, и Варенька поняла, что приходила зря. Потом оказалось: нет, хлопотал. Но сферы не вняли.

За этот месяц Варенька взвинтилась и похорошела. Она сделалась семейной тираншей, заместив на этой хлопотной должности Маменьку. Варенька сама чувствовала, что знание своей правоты прогнало липкий сумрак, в который она была ввергнута замужеством. Ей уже стало все равно, чем занимается в Новгороде Алексис. Он прислал ей два письма: клялся, что скучает; Варенька бледно усмехнулась. Скучания мужа ею были хорошо изучены, равно как и места, где он имел обыкновение развеивать скуку и откуда являлся под утро, насвистывая водевильчик. Она мяла его письма, разглаживала, перечитывала с усмешкой и снова комкала, но не выбрасывала...

Как и обещали, Николенку перевели в новую камеру. Здесь было не так сыро, имелись окно, стол и другие приметы казенной филантропии. Но Николенке было уже все равно: время исчезло, один день был копией другого. Его больше не вызывали к зеркалу с амурами; да и было ли оно, это зеркало? Только один раз заблестели на Николенку из сумерек марципановые глазки; генерал уселся – нога на ногу:

– Один вопрос, Николай Петрович, не от следствия, а от себя лично. Правда ли, что вы неудовлетворительно отзывались о храме во имя Христа Спасителя? Что предлагали разрушить этот храм и на месте его возвести новый?

– Правда, – хрипнул Николенка и отвернулся к стене.

Марципаны погасли.

Этот храм был студенческим кошмаром Николенки.

Он даже выступил об этом на одной из петрашевских пятниц. В 1812 году, сообщал Николенка, по изгнании французских орд прежний император дал обет соорудить храм; затеяли конкурс.

– Вот, – Николенка пустил по рукам карандашную копию, – некоторые рисунки, поучаствовавшие в конкурсе... Выиграл проект Витберга, это тот, который Дмитрий Дмитриевич сейчас смотрит; я сейчас на него комментарий дам; Дмитрий Дмитриевич, передайте, пожалуйста, далее... Витберг, классицист, победил, его проект из трех храмов на Воробьевых горах, получается, что над городом, храм над городом. Потом, вот обратите внимание, господа, каков план у Витберга был, потому что в нем философия, он из трех частей. Там подземная церковь-мемориал, она не видна, но она квадратная, что означало символ Тела. То есть квадрат – это тело; надземный храм, который здесь виден, поднесите, пожалуйста, ближе к свету... Надземный вот здесь крестообразный, это символ Души. А верхний, круглый, – это да, верно... Тело, Душа и Дух. И все в классических формах, правильно, в римских, я и говорю – классических. А потом закипают интриги; Витберга – в ссылку; строительство закидает, символы к чорту... А тут еще гора поползла под стройкой, наслали комиссию, комиссия интригует, доинтриговали до того, что прямо в Кремль новый храм положили втиснуть. Но витберговский проект еще не отвергали, за него – общественное мнение. Только потом государь Нико-

лай Павлович руку приложил: «Что это у нас все хотят строить а-ля классик? У нас в Москве много сооружений совершенно в русском вкусе». Витберговскому шедевру – отставка, а Тон Константин Андреевич уже своим чертежиком шуршит: не соблаговолите взглянуть? И на стол стелет. Вот маковки, вот позолота: совершенная народность и матушка-Русь! Государь подумал себе в ус да и махнул резолюцию: быть по сему. А раз удалось государя согласить, то и дебаты закрываются. Общественное мнение, как водится, пожужжало себе в чайную чашечку и затихло; стало наблюдать, как валят Алексеевский монастырь, очищая место для ложновизантийского монстра имени Константина Андрейча Тона.

– Но позвольте, – возражает кто-то, всплывая от возмущения над столом, – а как же византийские храмы Кремля? Или вы отрицаете все, что строилось у нас до Петра?

– В том-то и дело, – устремился Николенька на возрадителя, – в том-то и дело, что не отрицаю! Только от всего сердца резюмирую: не нужно нам сейчас европейскими своими ногами в прежние лапти лезть! Архитектура – та же одежда, одежда общества, оттого с общественным телом соразмеряться должна. Наша задача – от прямых и строгих форм классики двигаться дальше, вперед, может, даже дальше самой Европы. Да! В Европе сейчас тоже от замедления мыслительных процессов развилась любовь к старине. Оттого они сейчас ветхую готику у себя возрождают, что не имеют огня вперед двигаться; что развернулись, как Лотова жена, назад, к прошлому. Оттого и замерли они, как соляной кристалл, неоготическими гранями. Мы тоже было за эту готику схватились, как за моду, и даже кое-где повылезали у нас эти колючие шпильки и чуть ли не нотр-дамы парижские. Потом спохватились: непатриотично нотр-дамы разводить! Быстро вспомнили о православии и Иване Великом и выставили против их готических вимпергов и фиалов свои закомory и раззолоченные главки, спешно нанятые нашими ревнителями старины. Нарекрутировали их, побрили по-немецки, и замаршировали по всей Руси обмундированные господином Тоном церкви и колокольни...

Санкт-Петербург, 19 декабря 1849 года

Граф N еще раз оглядел Вареньку:

– Чудес не бывает, милая Варвара Петровна, особенно в наше просвещенное время. Решение о казни принято государем окончательно и бесповоротно.

Прищурил красные веки. Понаблюдав, лакомясь, за эффектом.

Пол под Варенькой качнулся и поплыл.

Она устояла. Выдержала безрешительный взгляд.

У края глаза сеточкой легла усмешка.

– Да, Варвара Петровна, чудес не бывает. Но...

– Но?

– Но ваше письмо каким-то волшебным образом попало к государю. Не знаю уж, какие крылатые гении этому покровительствовали...

Граф подошел почти вплотную. Теперь уже не только взгляд, но и его дыхание обволакивало ее.

– И это конечно же чудо, Варвара Петровна. Потому что мы тщательнейше оберегаем государя от писем, прошений и других стихийных эпистолярных явлений. Тщательнейше, – повторил граф, смакуя шипящие согласные.

Варенька кивнула, плохо понимая, для чего она кивает и для чего вообще стоит в этом кабинете с графом N и огромным портретом государя...

– Впрочем, иногда государь желает почитать несколько писем... Простых писем от простых людей. О, вы не знаете сердца государя, оно умеет чувствовать! Но и на это у нас всегда есть в запасе... Нет, конечно, мы не сами их пишем. Слава богу, российская земля в нынешнюю эпоху как никогда богата литературными талантами, чья одаренность уступает разве что только их сговорчивости. Вы бы знали, сколько прекрасных писем написали лучшие русские

литераторы от имени простых людей и их языком! Они так набили руку на писании таких писем для государя, что даже открылось новое направление в литературе. Реализм – не слышали о таком? Монархический реализм. И тут... И тут ваше письмо!

Голос графа N доносился до Вареньки словно со стороны. Глаза ее были заняты машинным разглядыванием портрета, парившего над затылками графа. Кипящее героизмом лицо, тучные бедра, самодержавно круглящийся гульфик.

– Но это еще не все. Государь изволил прочесть ваше письмо!

– Государь прочел мое прошение?

– Вот именно! – Граф поднял палец, блеснув перстнем. – Вот именно, о чем я вам и говорю! Государь прочел ваше письмо и изволил высказать высочайшее одобрение его стилю, отсутствию ошибок против русского языка, а также орфографии. И это, по-вашему, разве не чудо? Более того, он всемиловейше заметил, что после смерти его любимого литератора Пушкина Александра Сергеевича ни одно сочинение не доставляло ему столь интересного и тонкого переживания, какое доставило ваше письмо.

– Но... Что он сказал о предмете самого прошения?

– О предмете прошения? – Брови графа поднялись, по лбу рябью пошли морщинки. – О предмете прошения вы сможете спросить завтра. Да, Варвара Петровна, завтрашнего дня, двадцатого числа государь соблаговолил пригласить вас на... – Многозначительно прищурился: – На литературную беседу...

И снова пол под Варенькой качнулся.

И снова она устояла. Только впилась глазами в портрет, в профиль, в аксельбанты.

– ...будете ожидать там, за вами явится карета, – шелестел граф, успев взять Варенькину руку в свою, влажную и металлическую от перстней. – Вы, надеюсь, понимаете важность вашей миссии?

– Я никуда! Ни на какую... Ни на какую встречу!

Она лежала вниз распухшим лицом и била кулачками по подушкам.

Избив еще пару подушек, поднялась. Прошла по комнате, всхлипнула. Подняла с пола подушку, на которой сама когда-то вышила котят, игравших с клубочком шерсти.

Бросила ее на кресло, шагнула к зеркалу.

Долго стояла у зеркала, так долго, что у ключницы, посланной подглядывать, заломило поясницу, и она заковыляла обратно к барыне просить смены караула.

В дверь поскреблась Маменька. В щелке заблестел испуганный глаз.

– Чаю с лимончиком, Варенька? С лимончиком?

– Оставьте, Маменька.

И сама удивилась своему спокойному голосу.

Посмотрела на платье, которое ей доставили. Белое платье из *moifé-antique*. Кружевная уборка по бокам в два ряда. Внизу рюш из лент. Банты зубцами из *de fantasie*. Корсаж с двумя шнипами. Кружевная берта с бантами из лент, все симметрично.

Государь Император более всего любил свой Народ, прекрасный пол и симметрию. Хотя симметрию Он любил, пожалуй, более всего.

Даже прелестниц Он подбирал из соображений симметрических. Так, чтобы через равные промежутки блондинок шли брюнетки. Чтобы после возлюбленной, имевшей родинку на правой щеке, являлась с родинкою на левой. С годами амурный педантизм развился далее, до точных сведений о ширине талии, длине ног и прочих арифметических величин. Все эти величины сортировались и ранжировались в Его уме, расставлялись рядами, парами, и если бы можно было собрать и выстроить их в одном месте и обозреть, то явилась бы чудная картина, или, точнее, – архитектурное сооружение.

– Архитектурное сооружение!

Государь медленно прошелся по кабинету. Архитектура была Его фавориткой среди прочих искусств, превосходя даже самое литературу, в которой Государь был большой знаток и ободритель талантов. В литературе, однако, все дело портили сами литераторы: то пашквиль настрочат, то рукопись безо всякого позволения в печку швырнут, то на дуэлях напроказят. Вот если бы можно было из лучших литераторов комиссию составить, и чтобы эта комиссия все время заседала, отправляя Ему на утверждение не незрелые наброски, а окончательные проекты... Кстати, отчего же не ввести в литературу это архитектурное слово «проект»? Отчего не называть «проектами» все эти рукописи, стихами и прозою, направляемые для Его одобрения?

Нет, не лепишь из этих господ ни комиссии, ни министерства по писанию в рифму, ни коллегии по наблюдению за четырехстопным ямбом.

– Нет в литературе симметрии... – вздохнул.

Другое дело – архитекторы. Умытые, услужливые, разноцветными чернилами пользуются... Имел, имел Государь слабость к архитектуре еще с тех лет, когда в Великих Князьях прозябал. Когда исполнял обязанность генерала-инспектора по инженерной части; чертежи просматривал и вопросы задавал. От этих вопросов господа архитекторы сперва за голову хватались; потом привыкли. Особо после того, как ударился Великий Князь оземь на Сенатской, да так ударился, что вся Россия волной пошла, и обратился Государем Императором. С тех пор не проходит ни один проект без Его визы: «Быть по сему». И – вензеля, вензеля...

И заклубилось по столицам строительство, заскрежетало железом о камень, затопали по строительным лесам мужички, напевая свои душевные песни под тяжестью мешков с песком и раствором. Быть по сему! И зашевелился, поднимаясь на месте Алексеевского монастыря, храм Христа Спасителя. Быть по сему! И возносится на Дворцовой гранитный столп, ось симметрическая, из самой сердцевины площади безлиственным стволом торчащая. И в запустелом Кремле, бывшем еще недавно самым разбойным местом в Москве, строится Его большой дворец: «Кремлевский дворец мой, изящное произведение зодчества, будет новым достойным украшением любезной моей древней столицы...» Быть по сему – и вензеля, вензеля... Строятся по всей России каменные здания, утверждают «Нормальные планы казенным селениям с поперечными улицами и площадями» – это Он деревеньки по типовому плану перестроить стремится, чтобы сделалась пьяная русская деревня регулярной и симметричной!

А за шторой, за вспотевшим – словно кто надышал да и сбежал, подлец, – стеклом: ледяной обморок, Россия и Народ. Народ, любимый Им до мигрени, до желудочной спазмы, Он с детства приучал себя к этой любви, к этой любви к народу, как к обтираниям ледяной царско-сельской водой, как к неуклюжим, косолапым проявлениям верноподданнических чувств – за столетие Просвещения так и не научились льстить по-человечески, скоты!

Он знал и то, что твердят о Нем, свесив раздвоенный язычок, Его недоброжелатели. Для того и учредил Третье отделение, чтобы ни одно движение этого язычка не оставалось неучтенным и не уложенным Ему на стол. Не было еще в России правителя, столь чуткого к акустическим явлениям в Его государстве.

Вот и теперь плывет выпуклый императорский взгляд по строчкам Всеподданейшего Доклада о деле Петрашевского.

«В марте 1844 года дошло до сведения шефа жандармов, что титулярный советник Бутаевич-Петрашевский, проживавший в С.-Петербурге в собственном доме, обнаруживает большую склонность к коммунизму и с дерзостью провозглашает свои правила; что к нему постоянно в назначенный для сходбища вечер, по пятницам, собиралось от пятнадцати до тридцати разных лиц, одинаковых с ним мыслей; что они, оставаясь до трех и четырех часов за полночь, в карты не играли, а читали, говорили и спорили...»

А снег все хлопочет за окном, все нарастает на зданиях в виде нерегулярного орнамента. Как все самодержцы, к явлениям природы Государь относился с недоверием. Он и о прапра-

деде своем, Петре Безумном, не мог думать без изжоги: выдумал же тот столицу на коварных водах возводить! На пустом и нежилом месте... Впрочем, нет, не на пустом: стояли, говорят, здесь деревеньки – Калина, Враловщина... Вот и возвел Петр на их месте Новую Враловщину, великую враловщину из туманов и испарений. А климат?! Можно ли допускать, чтобы главный город империи был игрушкой капризной метеорологии? Жаль, нельзя снести этот бронзовый идол, сплошь покрытый разводами окислений, словно пятнами неприличной болезни (которой, сказывали, снедался великий покойник)! Да еще змею под копыта подложили: мол, попирает! Для чего, за какие заслуги тут змея, на какие моральные афоризмы она способна навести русские умы? Что она есть наказанное Зло и напавшая гидра? Но кем она наказана, каким Добром? Сам пучеглазый наездник даже не смотрит на нее; словно гадина раздавлена им случайно, без умысла; возможно, заметь он ее, так и давить не стал, а увековечил бы в своей Кунсткамере, в спирту!

Нет, не таков главный монумент Его, Николая Павловича, эпохи, водруженный на Дворцовой в противостояние взбесившейся бронзе, что на Сенатской. Тут воздвиг Он свой Александрийский столп, идеальную гранитную колонну, вознесшуюся выше непокорной головы позеленевшего прапрадеда и прочих непокорных голов. А на вершине столпа – не развратник со змеею, а ангел с крестом: смирись, гордыня! Высоко вознесен ангел, надо всем наблюдает: и над Петром грешным, кажущимся отсюда не больше жука-бронзовки, и над городом Петра, и над этим... господином Петрашевским!

«Далее Петрашевский говорил, что только правительство республиканское – представительное – достойно человека, причем для сравнения приводил правительство Северо-Американских Штатов. Он упоминал, что целость России поддерживается только военной силою, и когда эта сила уничтожится или, по крайней мере, ослабнет, то все народы, составляющие Россию, разделятся на отдельные племена, и тогда Россия будет собою представлять нынешние Соединенные Штаты Северной Америки...»

При упоминании Соединенных Штатов Государь пожелтел. Недолголюбивал он их, наглые, не имеющие своей древности, пахнущие навозом и замороженной демократией!

«...на собраниях этих порицались действия высших государственных сановников и даже Особы Вашего Императорского Величества, дерзко осмеливаясь называть богдыханом, потому что сравнивали Россию с Китаем».

Китай! Да Китаю до России еще тысячу лет карабкаться! Они бы еще сказали – Япония какая-нибудь! И они не затруднились сравнить Его – с этими Восточными Деспотами, властвующими только ради утверждения своих прихотей! Его, спавшего везде только на мешке с соломой! Его, читавшего в юные годы Марка Аврелия!

Впрочем, более всего был любим уже тогда не Аврелий, а марш на плацу, тут уж наследственность аукнулась: немецкая природа без марша не может, и даже, говорят, Мировой Разум у их новейших философов марширует, вроде прусского солдата. Только вот узки, тесны немецкие владения – негде размаршироваться; не то что Россия, где военным ногам простор и преференция. О, эта вечная тоска Европы по пространству! Этот вечный взгляд, жадный и хитрый, в сторону России! И эзоповой лисицей, будучи не в силах поглотить этот ледяной виноград, твердит себе: варвары, скифы, деспотизм! И наши эзопики научились за ней перепевать: обеды по пятницам устраивают! Французских писателишек и их фантазии обсуждают! Франция, еще недавно лежавшая во прахе, продолжает пакостить России, продолжает насыщать умственный яд!

«Скажите тем, кто будет нападать на социализм, что поступать так – значит вводить мертвящий эгоизм в общество и в нем водворять тишину могилы и безмолвие кладбища! Скажите ему, что прошедшее невосвратимо, что ныне никого, даже киргиза, кочующего по широкой степи Барабинской, не прельщает доблесть Святослава, спанье в болоте на потном войлоке и питье вина пополам с кровью еще теплого неприятеля; что закон природы неизменен. Пагубна

кичливая гордость быть фосенгаром в отношении к целому обществу! Имея уши да услышит».

– Услышат, уже слышали! – И Государь стал брезгливо подписывать смертные приговоры.

Санкт-Петербург, 20 декабря 1849 года

К вечеру снег сошел; заморосило. Окна наполнялись желтым дымом вечерних забот; там доедали ужин, там гнали детей в постель, там стучали на заляпанных воском пианино и существовали своей сумеречной жизнью.

Варенька, уже наряженная и подготовленная к жертве, прошелестела напоследок в детскую; там, среди двух ее братьев, обитал и Левушка. Поглядела на него, спящего, еще раз вздохнула о сходстве с Алексисом, поправила одеяльце. Сам Алексис этого вопиющего сходства никогда не видел, не замечал, отмахивался от липнущего Левушки. И Левушка, надув губки (еще одно сходство!), впивался с удвоенной детской силой в Вареньку и оккупировал ее своими капризами...

Еще раз поправив вкусно пахнущее одеяло, Варенька вдруг подумала о втором ребенке. Что, возможно, он сможет разрешить этот нелюбовный треугольник между ней, Левушкой и Алексисом. Алексис, конечно, бессердечное животное, и если бы построили кунсткамеру для моральных уродов, то он бы красовался там на первой полке, но... Был ведь и он поначалу нежен, ручку целовал и прядью ее играл, не говоря уже о письмах. А если было, то зачем же не попытаться вернуть, не сжать в хрупкий кулачок все силы, не увядшую еще (взгляд в зеркало) красоту? Да, Алексис сам как-то назвал ее ангелом; теперь ангел желает родить; это должно исправить, поставить на свои места, вдохнуть новое. Только бы вызволить сейчас Николеньку. А потом, после Рождества, обратно в Новгород – творить из небытия семейное счастье, раздувать погасший очаг, пачкаясь в золе. Прижаться к негодяю Алексису, намекнуть, что простила многое, хотя и не все. Нет, пожалуй, и прижиматься тоже сразу не стоит... Боже, уже часы бьют!

Карета налетела на Вареньку, обдав цокотом и фырком. Дверца приоткрылась: «Варвара Петровна!» Она уже рядом с графом N, дорожная тряска, куда они едут? Мелькнул платочек графа, дохнув вкрадчивым ароматом. «Не волнуйтесь, Варвара Петровна, наслаждайтесь обстановкою; многие первейшие красавицы столицы только мечтают попасть в эту карету». Варенька же вместо рекомендованного ей наслаждения стала вызывать в уме образ брата. Вознесла молитву святой Варваре, прося отвести позор и растление, «а ежели это неизбежно для спасения брата моего, то...». Далее слова не находились; бешено вращалось колесо; помахивал в темноте платочек, удушая Вареньку приторными зефирами.

Въехав во что-то яркое и освещенное, карета встала.

Дул ветер, дымились лошадиные морды; Вареньке помогли сойти. Над головой шумели ветви, сухой лист расписался вензелем перед самым лицом. Здание пестрело огнями.

– Государь здесь?

– Увидите. (Улыбочка.)

В дверях волною звонкого жара плеснул ей в лицо вальс. Ей помогают освободиться от всего излишнего, намокшего, пыльного; она приводит себя в порядок (перед жертвой?) и, распушась, – в зал. Все еще бледное лицо; глаза полуприкрыты; уголки губ вниз. Граф N то исчезает в нарастающих шорохах и драпировках, то – вплотную, ядовитым платочком благословляет:

– Радостнее, радостнее, шер Варвара Петровна, в ваших ручках – участь...

Варенька делается «радостнее», уголки губ чуть вверх – извольте!

И обрушивается зал. По жирному паркету несутся пары; на хорах дионисийствует оркестр.

– И это – литературная беседа?

– Да, Варвара Петровна, обратите внимание на танцующих.

Варенька обращает:

– Это маскарад?

Но граф исчез, лишь навязчивый аромат, навеянный платочком, еще тиранит Варенькины ноздри.

Оркестр, квакнув, замолкает; публика разбредается: перевести дух и поинтересоваться буфетом.

К Вареньке подходит Шекспир; отирает выпуклый лоб:

– To be or not to be – that is the question.

Варенька машинально продолжила:

– Whether 'tis nobler in the mind to suffer / The slings and arrows of outrageous fortune¹.

Шекспир усмехнулся:

– Приятно встретить просвещенную соотечественницу. Здесь даже поговорить не с кем, приходится все время танцевать. Вы любите танцевать?

– Что? (Оркестр снова зашумел.)

– Любите ли вы танцевать?

– Иногда.

– Я тоже люблю. Но здесь мне приходится танцевать эти современные танцы, а для нас, классиков, это попытка... Вот посмотрите, кстати, на Гомера, вот, во втором ряду... Ну куда с его лысиной и катарактой еще плясать мазурку! Или вот Вольтер. Сколько раз говорил ему...

– А кто ему партнерует? – спросила Варенька, продолжая искать глазами графа.

– Не имею понятия. – Шекспир огладил бородку и прислонился к колонне. – Наверняка одна из прекрасных дам вашего государя. Он любит приглашать их на наши литературные вечера.

– Вот как...

– А что поделать? Своих дам у нас по пальцам пересчитать. Ну старушка Сафо – так с ней уже даже Гомер не вальсирует. Мадам де Сталь... Екатерина Великая пописывала недурно, но ваш государь наотрез отказался воскрешать свою бабушку – ничего не поделаешь, престолонаследные сантименты. А еще недавно француженка одна явилась, писательница, мы было устремились к ней, и тут она входит: в мужском костюме и смердит табаком, как шкипер! Мазурка вдребезги. Впрочем, что еще ожидать от дамы, подписывающейся мужским именем! Жорж Санд, не читали? И не стоит. Запомните: Шекспир с ней не танцевал!

Варенька вполуха внимала болтовне классика, а сама все полькировала и всматривалась в пролетающие пары. Успела отгадать золотистую лысину Гомера и острый, как топорик, профиль Данте. Наконец заметила шатена с печальным обезьяньим лицом.

– Да, роог devil², ему не позавидуешь, – перехватил ее взгляд Шекспир. – Вынужден танцевать со своею же супругой, Натали Гончаровой, являющейся в то же время предметом воздыханий государя. Тем более она теперь во втором браке, в новых заботах и пеленках. Но тут уж государь только развел руками: если литературный вечер, то как же без Пушкина!

– А где сам государь? – спросила Варенька.

Но тут снова вывалился откуда-то граф:

¹ «Быть или не быть? Вот в чем вопрос! / Что благороднее: сносить ли гром и стрелы / Враждующей судьбы...» (Шекспир. «Гамлет». Перевод А.И. Кронеберга).

² Бедняга (англ.).

– Варвара Петровна! Что же не танцуете, мон ами? – И, развернувшись к оркестру, командовал: – Вальс!

После Шекспира Вареньку провальсировал Гёте, кавалер гораздо более легкий, пучеглазый, постреливавший афоризмами.

– Литература, увы, слишком тесно связана с монархией. Достаточно монархам хлопнуть в ладони, и мы являемся, живые или мертвые. К счастью, их хлопки тревожат нас не слишком часто. Прошлый такой бал был задан Луи Бонапартом, отплясывали так, что чуть не спалили весь Париж. Да, милая фрау, за союз трона и чернильницы приходится платить. Но мы тоже не остаемся в долгу – такие ассамблеи закручиваем, с шампанским и трюфелями. И наприглашаем венценосных особ из наших списков – а они знают, кто из них у нас в списках! И тогда уже они у нас скачут и пляшут, а мы, поэты, лишь у фонтана отдыхаем. Но, к сожалению, чаще скакать приходится нам...

Она было хотела спросить Гёте, что означает его *Ewige-Weibliche*³ (и, возможно, набиться на комплимент), но тут наступил обмен парами, и Вареньку подхватил новый кавалер. Он всё отмалчивался и отплясывал невесть что; старушечьи пряди встряхивались, на Вареньку выставился нос: сообщил, что остатки «Мертвых душ» сожжены, и пепла оказалось совсем немного, и всем желающим, особенно господам издателям, может его и не хватить. Но Варенька уже уносила в новые танцевальные каскады; птичий профиль отлетел прочь; свечи, блики оркестра закружили ее. Вырвавшись из танца, юркнула в буфет: глотала оршад и обдумывала спросить вина.

Здесь наконец к ней подошли.

Бокал оршада был оставлен, платье оправлено: «Я готова». Мысли о Николеньке, чтобы настроиться; мелкий монашеский шаг. «Скорее бы закончилась вся эта комедия». Оршад на удаляющемся столике; надо было сразу брать вино: с вином – это легче (бедная женская мудрость...).

Два лестничных пролета; натруженные мазурками ноги чувствуют каждую ступеньку. О да, она отвыкла от танцев. Сколько здесь ступеней? «Лестница в небо». Не слишком ли много небожителей за один вечер? «Литература, Варвара Петровна, требует жертв, особенно женских... Теперь – сюда». Холодеют руки; надо было все-таки взять внизу вина, а не разыгрывать пепиньерку.

Уймись, волнения страсти... Здесь музыка из зала почти не слышна – так, заскочит мышью пара глухих мелодий. Трещит камин, обдавая спину тревожным жаром. Турецкий диван, позолоты, его портрет: доспехи блещут, хотя солнца и не видно – скрылось за тучи, убоявшись конкуренции. Длань указывает за пределы холста; вероятно, на неприятельские войска, а если точнее – аккурат на дрожащую Вареньку.

– Добрый вечер, милая Варвара Петровна!

Голос идет из самого портрета; замечает Варенька, что глаза на портрете – живые, а все остальное – масляная краска.

А голос все говорит, и прошение Варенькино за слог хвалит, и на патриотизм ее нежно надавливает. Окружена Россия неприятелями, это даже барышни понимать должны. А вы – мать растущего отпрыска, будущего офицера какого-нибудь рода войск, вы тем более должны проникаться.

Варенька кивает: прониклась. Только бы не дошло до греха. Но нет, зажужжало что-то в раме, пополз холст, поплыл государь в полной амуниции вверх, а снизу наплывает другой живописный вид: тот же государь, но уже лик подомашнее и одежды попроще. То есть еще

³ Вечная Женственность (нем.) – из «Фауста».

мундир, но пуговики сверху расстегнуты, для свободы вздохов, и в глазах – не молния в сторону неприятеля (Варенька на всякий случай ретировалась с того места), а отеческий прищур и нераздельная триада: самодержавиеправославиенародность. Речи – соответственные: готов миловать... одним лишь отеческим радением...

– Здесь, милая Варенька, – позвольте я буду называть вас Варенька – замешана архитектура, оттого и строгость приговора. Открою секрет: русская архитектура – это и есть русская идея, никакой другой русской идее быть невозможно. Оскорбил братец ваш русскую архитектуру, в самое сердце ей наплевал. Оттого и строгости, милая Варенька, что от обиды!

И действительно – как это Варенька сразу не заметила? – на портрете, фоном: купола, колонны. Лезут из-за плеч и боков государя разные сооружения, и чем-то они все на самого государя пропорциями смахивают.

Только привыкла: опять жужжание. Теперь вся картина створкою отходит, под ней – новые виды: государь в партикулярном платье, лицо непарадное, книжный шкаф и пастушка на полочке. Разговор (из-за холста) – о литературе, естественно; улыбка в ус: ах, литература! Вспоминает Пушкина, певца ножек и других приятных анатомических деталей... Рад, Варенька, что вам понравился бал, все ради вас. Что? Сам Гёте? Ах, комедианты! Друг Варенька, знали бы вы, какие гамлетовские раздумья овладевают порой моим сердцем, каким ничтожным кажется мне мир и его поступки! И лишь луч Любви...

При словах «луч Любви» за рамою снова засуетились; прежний государь, жужжа, поплыл вверх, наматываясь на валик; Вареньке открылся новый шедевр: Юпитер, без бороды и со знакомыми усами. Сидит в тучах, напоминающих подушки; в руках – связка молний (опять одна – в Вареньку целит). На плече – орел, клюв к уху поднес, последние древнеримские сплетни докладывает. На Юпитере тога; накинута небрежно, с некоторым даже байронизмом; и рука с букетиком молний.

– ...луч Любви приносит порой отраду и отдохновение! – заканчивает Юпитер и подмаргивает: не ломайся, смертная. Подойди, и изольюсь на тебя золотым ливнем, лебединым семенем, жарким бычьим дыханием. И олимпийцев порой посещает томленье, тяжелое, как вой титанов, запертых в недрах земных; безумное, как ухмылка Хаоса. И падают пылающими яблоками боги с Олимпа, падают на дочерей земли, покрытых льдом неопытности. И прожигают с шипеньем этот лед, и кусают себя дочери земли за запястье, чтобы не выдать криком горячее присутствие божества. Варенька! Какая усталость и одиночество, мраморное одиночество небожителя! Среди липких алтарей, среди скифских балов! И лишь луч Любви...

Под усатым Юпитером что-то зажужжало, картина стала отделяться от стены. Варенька отпрянула; из-за рамы вдруг выглянула, отыскивая стоявший левее пуф, тяжелая нога. Нога была голой и распухшей, со следами водянки; Варенька следила за маневрами ноги, которая все блуждала, никак не попадая на пуф. Наконец, нога отловила пуф и оперлась. «Сейчас явится вторая!» – подумала Варенька. И не ошиблась.

Нет, все было не так. Привезли, провели коридорами. Нашептали инструкцию. Подтолкнули, напомнили, прошумели удаляющимися шагами. Появились, воровато, но с достоинством. Привлекли. Со вкусом раздели. Все было быстро, липко и небольно. Говорили по-французски.

Прощаясь, подарили ей диадему. Она взяла. Что уж теперь. Главное – просьба о помиловании Николеньки была донесена. Прошептана, проплакана в мраморное, со старческими сосудами, ухо. Кивнул: «Не беспокойтесь об этом». Или ей показалось? Зачем она не повторила просьбу?

Все та же карета отвозила ее, тоскливо гремя по мокрым улицам. Усни, безнадежное сердце...

Санкт-Петербург, 21 декабря 1849 года

Ночь с 21-е на 22-е была тяжела. Николенька обрушивался головою на подушку и считал до ста, приманивая сон. Рот делал бесполезные зевки; зрачки терлись о горячую изнанку век.

Наконец он уснул. Но не сытным сном, какой полагается арестанту за муки и неудобства. Снег с улицы переселился в Николенькино сознание и беспокойно замелькал перед лицом.

Вот Николенька идет Фонтанкой, не решаясь взять извозчика и не подвергать себя мерзостям климата. Набережная; несет дымом; квартальный вылез из будки, носом воздух шупает. Но Николенька дымом не интересуется. Полгода уже ходит Николенька изнутри расцарапанный, и даже Фурье в голове поблек. Архитектура – особенно после злосчастного обсуждения его проекта – тоже повернулась к нему скучным, обшарпанным боком.

Вот задышало, хорошась кокошниками, Сергиево подворье: запустил недавно архитектор Горностаев сюда свой эклектический коготок, и выросла, выскочила псевдорусская кикиморка и пустилась в пляс по набережной. И расплясало ее аж до другой каракатицы, еще одним эклектиком сотворенной: до дворца Белосельских. Это г-н Штакеншнейдер рядом с горностаевской плясухой своих кариатид выгуливает и прочую псевдобарочную нежить. Щурится Николенька, снежную бурду с ресниц смаргивает.

Полгода как повстречал он на мосту, под мордой грифона, свою возлюбленную. Много с тех пор воды под тем мостом утекло. Схлынул тополинный пух, преследуемый метлами, отполыхало лето, отыграла красноватыми лужами осень. Еще раз наведалься Николенька в ту квартиру, куда она его, чихающего, привела. Снова еле нашел, еле взобрался по лестнице. И снова выползло в дверную щелку чужое лицо, девочки с крысиной косицей: «Каво? Вам каво?..» Были еще безумные визиты в прачечные, вглядывание в пар; приходилось придумывать повод, сдавать какую-нибудь рубашку – все ради того, чтобы, нащурившись на влажные лица прачек, убедиться: *ее* здесь нет.

И вот идет Николенька набережной, сутулится от дыхания севера. Редкие кареты; рыбы глаза лошадей. Вот одна карета, даже в сумерках светящаяся богатством... Померцав сбоку, чалится к Николеньке и затихает перед ним. Вскрипывает дверца: «Что же вы, Николай Петрович, догонять вас заставляете? Или загордились?»

А Николай Петрович, он же Николенька, он же – изваяние каменное, стоит, речь потерял: она! И голос – *ее*, и смех – *ее*, и лицо, из недр глянувшее. Выронил папку с проектами, а из кареты – ирония: что же вы, Николай Петрович, произведения искусства роняете? Он – поднимать, а сам глазами уже в карете, рядом с насмешницей. Был глазами – стал всем телом, всею прозябшей персоной: усадила рядом. «За что, Николенька, хмуришься на меня? Или в мещанском платье я тебе милее была?» А в Николеньке уже зашумело; стал о своих страданиях-метаниях сообщать; она: всё знаю. Что глазами не видела, то сердце докладывало. «Как же так, ведь ты сказала прачкой?» А она выюркнула ладонью из меховой муфты, жадно взяла Николенькину – и в муфту *ее*, к теплу. И давай там с нею безумствовать. Задохнулся Николенька, а она голову склонила, за нею – город в стекле качается, то выпятится кариатидой и тут же сам в себя перспективой убегает... «Как ты меня срисовал, переключило мою жизнь, Николенька... Видишь, какую барыней-сударыней стала». Он – видит и не видит, весь разум его – у нее в муфте, где ярость ладоней и диалектика жарких уступок. Слова заглушались многоточиями лобзаний; многоточия нарастали, наслаивались на пунктир, отбиваемый копытами, всплесками кнута... Они слились, как тогда, в *ее* комнате. И когда он выдохнул в нее себя, она вдруг отринула, изменилась: «Ты грязный!» Удар кнута – снаружи – словно по его лицу: ожог недоумения. «Грязный... Прости!» – и в меха, в меха, закрывается рукой; внезапный толчок – выталкивает его в дверь, на полном скаку!

Санкт-Петербург, 22 декабря 1849 года

Заиграл колокол: день Анастасии Узорешительницы.

Радуйся, всеблаженная великомученице Анастасия, узников святая посетительнице и молитвеннице о душах наших!

Николенька выскользнул с лежанки. Взгромоздился на подоконник за порцией утреннего воздуха, зацарапался в форточку, открыл, высунул лицо, втянул ноздрями мороз. Земля была стянута свежим снегом, сквозь перезвон отбило полседьмого.

Николенька зевнул и собрался уже сползать с окна. Но тут раздались голоса, близко и беспокойно, захрустели по снегу подошвы. Николенька прилип к стеклу, впитывая; хождения и беседы нарастали. Из-за собора стали выезжать кареты; начал считать их, сбился, кареты все выезжали, лошади брызгали снегом и выдыхали голубой пар. Отскрипев и отфыркав, устанавливались за собором; следом потянулись на конях жандармы. «Что же это? – бормотал в стекло Николенька, – за кем же эти кареты?»; и еще какие-то фразы, отчего стекло обрастало мокрой дымкой, тут же увядавшей.

Вот служители с тряпьем через плечо направляются к коридору; звон ключей, шагов, отпираемых дверей. Николенька слетает с окна, замирает, дверь отворается.

– Вставай, ангел мой, до тебя дама одна прибыла, уж забыла имя, пока бежала!

Варенька всколыхнулась на постели. Маменька белеет над ней, в кофточке, подсвечник в руке дрожит. Из-за ее спины моргает и трет глаза прислуга.

– Час который?

– Да и я ей говорю, что в такую рань в приличный-то дом входите! А она уж напросила-то у меня целый короб прощений: ваш, говорит, сын...

– Что? – Варенька вскочила. – Что с ним?

– Да ты оденься-то сперва! Не убежит она, птаха ранняя. Я ей чай велела согреть...

Чьи-то руки вдергивают оцепеневшую Вареньку в ледяное платье, ловят ее плечи в тяжелый платок, мешают и царапают. Маменька вдруг валится в кресло, рассыпается истерикой; «воды!» – бегут за водой. Варенька бросается к креслу, к зеркалу, в зал. Там гостья сгорбилась, одна из просительниц по делу брата, Анна Вильгельмовна, фамилию забыла.

– Простите за раннее...

– Что? Что с братом?

– Сегодня их...

А в Николеньку бросают одеждой, той самой, в которой его взяли.

Следом – чулки, толстые шерстяные.

– Для чего все? – разглядывает Николенька чулки. – Куда нас?

– Узнаете!

Вот уже чулки облегают, стесняют Николенькины ноги, с пыхтеньем налезает поверх сапоги. Выводят. Коридор, дверь, воздух. Подфыркивает карета. Вместе с Николенькой лезет в нее широкая серая шинель, для охраны; вкупоривается, тесня плотным задом Николеньку. Зачастили копыта, закидались ледяной крупой колеса. Впереди и сзади трогаются другие; но это – только по звуку; обзора никакого. Оконные стекла подняты, все в окаменелых узорах, не отскоблишь.

– Куда нас везут?

– Не могу знать, – откликается шинель и еще глубже уходит в себя. Только пар из-под воротника пускает.

– А где же мы теперь едем? Кажется, на Выборгскую выехали? – дышит Николенька на стекло и трудится ногтями.

А шинель свое: не могу знать. Только моргнул на Николеньку сонный глаз – и обратно в ворот.

В раскарябанном стекле забелела Нева. Снова помутнело от густо намерзающего пара. Когда Николенька оттер, уже скакали по Воскресенскому.

– Воскресенский. – Николенька вдруг пронзился: что, если сейчас они свернут на Кировую, а там...

А там и мимо их дома пронестись могут!

Час, конечно, ранний; но, может, в окне... Может, выйдет кто! Николенька навалился на стекло, поборолся с ним; окно опустилось.

Пестрый воздух улицы ударил в лицо; город, просыпающийся, потягивающийся, позывающий в рукавицу, высыпался на Николеньку, как коробка леденцов. Утро было ясным, над крышами барахтался комковатый дым из затопленных печей; где-то стучали, бормотали, собирались жениться или просто выпить кофий. Снег был уже кое-где облит помоями. А Николенька дышал ветром и радовался: утро... снег... помои... Как все прекрасно! Люди... Люди шли, останавливались. Стояли и долго глядели на экипажи, окруженные скачущими жандармами с солнцем на оголенных саблях. И шли дальше.

А Николенькина догадка начинает сбываться. Мелькают знакомые дома и лавки, вот-вот и их дом вынесется навстречу, расцветет окнами, а может, и лицом родным... Выглянул Николенька, обдуваясь вихрями; отросшие кудри на ветру плещут. Вот уже засветлел в перспективе их домик. Только вокруг жандармы; один – курносый – поблизости скачет; увидел Николенькины вольности, подскочил:

– Не оттуливай!

Собрался было Николенька крикнуть, что на родительский дом один взгляд бросит, только сзади его уже втаскивают обратно, навалилась шинель, пыхтит над ним, окно задвигает. Николенька в шинельное сукно колотит:

– Мне только на дом свой взглянуть!

А шинель вынырнула вдруг лицом, совсем юным, в угорьках:

– Приговоренным глядеть на дома не дозволено! – И снова провалилась в себя, будто не было между ними ни драки, ни беседы.

Бросился Николенька стекло скрести, только ногти зря попортил. Дом уже пропал, одни чужие здания в тумане.

Едва прошумела кавалькада, выбежали из ворот Николенькиного дома две женщины. И замерли, вглядываясь в конец улицы. Там исчезали кареты, замыкаемые жандармским эскадроном; затих топот, улеглась ледяная пыль.

– Варвара Петровна, это они, это точно. На Семеновскую их повезти должны.

– Не может быть! Его обещали помиловать...

– Варвара Петровна, верный человек сообщил, всех приказали из крепости забрать, уже там и эшафот построили. Что с вами, Варвара Петровна?

– Нет, ничего... Где, говорите, ваша коляска? Вот эта?

Подкатила коляска.

– Варвара! Дочь!

Из дома бежал отец в нелепой шубе.

– Варя... и вы, – вклинился он меж женщин и распыл руки, заслоняя карету. – Сударыня, Варя нельзя сейчас никуда ехать, у нее в доме кончающаяся мать. Ехать сейчас просто легкомысленно; потом мы соберемся и поедем туда все... Сударыня, удержите ее от этих пассажей, у нее супруг в Новгороде, достойнейший человек, а она вот – на казнь! Нашу семью и так ожидают несчастья, для чего же ехать и злить?.. Варя, не езжай, я знаю, ты там что-то натворишь!

Варенька, дрожа, смотрела на отца:

– Будьте покойны, Папенька. Я уже натворила. Сильнее натворить невозможно...

Батюшка, не поняв, но испугавшись, осел в шубе, придавившей его косматой тяжестью. Дамы прошли сквозь него, задевая одеждами. Взмахнул хлыст, лошадки понеслись – нагонять. В карете Анна Вильгельмовна что-то говорила; Варенька кивала, но думала о другом. Она была уверена, что там будет государь и она сможет крикнуть ему в лицо. Хотя нет, она еще надеялась: «Он обещал!...»

А Папенька все следил за убегавшей каретой, пока за ним не спустились люди и не увели, как дитя, утешать липовым чаем.

Карета нагнала арестантскую кавалькаду на Обводном и, маневрируя, двигалась следом до Семеновской площади. Площадь была украшена задрапированным эшафотом и оцеплена войсками. Дамам пришлось размещаться на валах, где уже теснились толпы зрителей. Здесь же были и некоторые из благородных лиц, виданных до этого Варварой Петровной во время ее хождений по канцелярским мукам, но снестись с ними не получилось; толпа прибывала и расфасовывала стоявших, как получится. Как всегда, тут же оказались знатоки, мелкая чиновная накипь, деловито пояснявшие все, что творилось внизу. Там, на площади, подъезжали кареты, из них выводили несчастных. Вот вывели Николеньку – светлый стебелек; захромал по снегу к своим товарищам. Тут на них наскочил какой-то генерал и закричал с лошади; Вареньке даже показалось, что это сам государь, хотя сходства не было, одни усы.

Несчастных стали возводить на эшафот; первым поставили обросшего господина.

– Это Буташевич-Петрашевский, их главный, – вещал рядом всезнайка в шинели и с красным вакхическим носом. – Он их всех и набаламутил.

Восхождение продолжалось; шинелька с аппетитом произносила фамилии; почти все были Вареньке знакомы: Момбелли, Достоевский... Теперь эти фамилии стали плотью, телами молодых рыцарей прогресса и просвещения, исхудалыми, зябнувшими. Вот и Николенька на эшафоте. Или это не он? Где же государь?

– Должны-с, должны-с быть, – наклоняется к ней шинель и чесночную улыбочку дарит. – Его императорское величество и ожидают-с, оттого и заминки. Некому лучше отдирижировать расстрелом, чтобы не просто кровь и физиология, а воспитание сердец было-с.

А там, внизу, всех к столпам расставили, уже и священник крест поднял, и солнце в серой луже петербургского дыма восходит, на кресте отблескивая. «Шапки долой!»; стали подходить к столпникам, зачитывать конфирмацию. Тихо сделалось в толпе, осторожно; даже записные пояснители смолкли. Слышно стало всё, все слова, костяной хруст снега, скрип эшафота. Чиновник в мундире подходит к каждому, зачитывая вины и завершая хриплым росчерком: «На основании сего приговаривается Полевым уголовным судом к смертной казни расстрелянием, и 19-го сего декабря Государь Император собственноручно написал: “Быть по сему!”». От этих слов поплыла площадь перед Варенькой; покачнулась рядом Анна Вильгельмовна, сестра ее в горести; стала Варенька ее поддерживать, саму бы – кто поддержал. А государя все нет, только ожидание сквозняком по толпам гуляет.

Вот и Николенькин приговор зачитывают, подохрипнув: «...двадцати лет, за участие в преступных замыслах, за покушение к распространению сочинений против правительства, за дерзкие выражения против власти и ее архитектурных благоустроительных мероприятий – приговаривается...». Охрипший тенорок споткнулся и зафыркал кашлем. Нафыркавшись и растерев мокроту, выкрикнул: «Приговаривается к казни расстрелянием!»

А государя все нет; смутно, как сквозь обметанное стекло, видит Варенька, как солдаты одевают несчастных в белые балахоны и колпаки; вот и Николенька в балахоне. А государь все не мчится; а Анна Вильгельмовна – в платок кровью покашливает. На эшафоте священник, следом аналой устанавливают. Но все – с замедлинкой, словно ждут.

– Братья! Перед смертью надо покаяться! Я призываю к исповеди! – Братья молчат, в балахонах переминаются. – Кающемся Спаситель прощает грехи!

Один балахон дрогнул. Подплелся к священнику, пошептался, поцеловал белыми губами Святое Евангелие, вернулся. Священник движется к балахонам, что-то спасительное в бороду наговаривает, крестом к лицам обросшим тянется, лица – из царства смерти – наклоняются, сухо чиркают губами по кресту – и обратно в свое, безмолвное.

– Этого не может быть. – Варенька тербит Анну Вильгельмовну, еще кого-то. – Сейчас Он остановит все, Он мне обещал!

Лица смотрят на нее отвлеченно, отворачиваются, погружаются в плечи, в меховые воротники, расплываются. Только пояснитель направляет на Вареньку ликерный свой нос:

– Сударыня, не мешайте почтенной публике! – И тут же сам расплылся сизой кляксой.

Варенька уже плохо видит, как троих (почудилось, что и Николенька – лучиком – среди них) свели с подмостков, подвели к столбам, стали привязывать.

– Колпаки надвинуть на глаза!

...Нет, он скачет! Ее мучитель, ее одышливый ангел; спаситель, вдруг слившийся с образом Алексиса, мужа-искусителя, несется по снегу, бьющему под ним ледяными брызгами. И ворвется, подняв лошадь на дыбы, – остановить и оборвать! Ведь он кивнул, когда она просила в его желтое ухо, он кивнул и обещал; обещал!

«Клац!» – застрекотали барабаны – солдаты направили ружья к прицелу.

– Нет! Нет!

Ее успели подхватить; тьма сдавила, всадник проскакал и скрылся за пределами поля, плеснув кровавым плащом. Больше она ничего не помнила – ни как ружья опустились, ни как начали зачитывать помилование.

Прав был Папенька, не желавший отпускать Варвару Петровну на это приключение, хотя, когда ее привезли назад в нервной горячке, он не стал напоминать о своей прозорливости, а принял посильное участие в поднятой суматохе. Лишь под конец дня Папенька робко напомнил о своем пророчестве. «Я ведь как чувствовал, когда не хотел ее отпускать! – сказал он Маменьке, которая сидела над забывшейся Варенькой. – Как чувствовал!» – повторил он, заметив, что супруга никак не реагирует. И тут она отреагировала – в таких нелестных для Папеньки выражениях, что он спешно покинул комнату, потом долго ворочался у себя на кровати и успокоился только после стопки ерофеича. Маменька же поцеловала дочь в горячую щеку и отошла в свои покои, где долго молилась Казанской Божьей Матери, Заступнице за человеков, благодаря за чудотворное спасение раба Божья Николая, а также Анастасии Узорешительнице, дающей во узах сущим скорую помощь и заступление...

Санкт-Петербург, 24 декабря 1849 года

В сочельник небо над городом сделалось красным. «Красное небо», – сказал Папенька. И отошел в темноту – осмысливать.

В домах ставили елки, надевая на них легкие праздничные вериги. Елки качали ветвями, кололись и тревожно пахли чащей: с волками, воронами и следами крови на снегу. Дети пьянели от ожидания подарков.

Во Дворце горел и пенился праздник. Шевелились платья; хрусталь соперничал с позолотой; влажно дышали померанцевые деревца. В нарядах был взят курс на восемнадцатое столетие: на дамах – тюрбаны, украшенные дубовыми листьями, которые спускались легкими гроздьями вдоль щек и смешивались с завитыми *à l'anglaise* локонами. Были замечены также платья с узорами шинэ, украшенные обшивками и гирляндой. Кавалеры были преимущественно в привычных военных нарядах, на которые ветра моды действовали слабо. Государь был также в военном костюме, жевал мессинский апельсин и поглядывал на себя в зеркала.

У Триярских тоже нарядили скромную елку: оставить детей совсем без праздника не поднялась рука. «Мы и не такие времена имели, – сказала Маменька, – а елку детям ставили».

Елка затевалась, главным образом, для внука Левушки, которого Маменька уже успела полюбить цепкой старушечьей любовью. Когда Варенька после Семеновского плаца слегла в нервной болезни, Левонька совсем размеланхолился, лип к Варенькиной постели. Теперь Маменька хотела взбодрить его елкой. Да и Петр Людвигович, осмотревший Вареньку, елку позволил, только без шума и прыганья. «Покой, покой», – кивала Маменька; Варенькино личико жалко глядело с подушки, рядом сторожевым львенком золотился Левушка. Внизу, со двора, уже втаскивали елку и трясли ею в сенях, освобождая от снега.

А Папенька снова подходил к окну, и небо снова было красным. «К снегу», – говорил он и уплывал куда-то в сумерки, которых развелось в доме, как паутины. Словно невидимые пауки ткали темноту, рыжеватую, полную старческого сопения, как на картинах Рембрандта. И Папенька замирал, и обращался в желтого, гаснущего старца; а снег все не шел. В комнатах звучали дети; старшие вели дебаты, как расположить на елке украшения и ленты. Левушка тоже участвовал, то есть путался под ногами; наконец, он что-то крикнул и заплакал; ему ответили, кто-то засмеялся. Только Папенька уже дремал, и чуткие пауки оплетали его паутиною сумрака. От свалившихся бед Папенька стал сонлив, иногда религиозен, но чаще делался скептиком. Поставив утром перед собой философский вопрос, он обдумывал его целый день, пока не забывал. Вот и сейчас он думал о красном небе, о негрофилии, или филантропии к неграм, и заснул.

К вечеру дом затих. Варенька первый раз согласилась принять две ложки супа; проглотила и забылась. Маменька со старшими и прислугой отбыла на Всенощную; скептик Папенька остался в своих креслах. Левушка, утомившись от собственных капризов, заснул недалеко от елки. А небо все краснело, словно пыталось разродиться снегом и засыпать весь город с его колокольнями, кабаками, департаментами, сиротопитательными и странноприимными домами.

И тут произошло странное событие. Левушка проснулся от холодного колючего поцелуя. Распахнув глаза, увидел над собой почти забытое лицо.

– Папá! – обрадовался он. И сам испугался своей радости.

– Тсс, – сказал Алексей Карлович Маринелли и, улыбнувшись, поднес палец к губам.

А на другом конце Петербурга, где-то за Обводным, творились дела еще более странные. К дому в два этажа подходили какие-то секретные личности. Вошедших вели по коридорам, все освещение которых шло от красноватого света с улицы. Коридор был долгим; казалось, где-то играет музыка, пищит флейта и похрипывает орган. Постепенно коридор делался населенным; попадались лица, замотанные бог весть во что, и даже пара благородных профилей. Все они обменивались лаконическими приветствиями и шли толпою дальше.

Толпа выплескивалась в небольшую залу. Здесь пахло бессарабским вином и разными шубами и платьями. Прибывшим предлагалось сбросить меха и вкусить стаканчик; вкушение завершалось криком, охом и другими признаками удовольствия.

Следом была зала побольше, с потолком, расписанным звездами. Здесь располагалась кой-какая музыка; усердствовала скрипка, в углу благоухал стол. Публика, хотя и попотчеванная красненьким, вела себя пристойно: никто не неся в пляс; только несколько сапог легонько притоптывали в такт скрипке. Все чего-то ждали, поглядывая на дверь в конце залы.

За той дверью была комната еще более сомнительного интерьера. Всей мебели была только пустая рама на стене. Кроме рамы и обоев с попугаями и лирами на красном грунте, которыми была обтянута комната, здесь не было ничего. Эта комната также имела две двери, одна из которых вела в глухой коридор с красными, предснежными окнами. Другая дверь вела в еще одну комнату. Эту комнату можно было бы принять за склад, все было покрыто шерстяною пылью. Нагоревшая свеча, однако, свидетельствовала, что здесь кто-то был. Письменный стол немецкой работы с миллионом ящичков был засыпан бумагой и расчетами. Среди бумаг

выделялся рисунок карты: четыре щекастых Ветра дули на местность, вдоль которой шла надпись Tartaria.

Был тут и еще один предмет. Он был недавно вытерт, о чем говорили влажные пятна на полу. Это был алтарь с идущими фигурами, варварски изувеченный. Части голов, рук и ног были уничтожены, так что было неясно, куда и зачем процессия движется. Над головами – точнее, над местом, где раньше росли и разговаривали головы, – было звездное небо; звезды также были выковыряны. Пустота, сквозь которую глядела некрашенная доска, была и на месте самой крупной звезды.

Фон изображал равнину, и обрубки двигались по ней, задрав несуществующие головы к вырванной звезде. В двух местах равнина закруглялась двумя холмами. Что было на первом, можно было утверждать только гадательно. Зато на втором был прекрасно виден город. С площадями, садами, животными в хлеву. С теплыми улицами, пахнувшими дымом, тмином и нечистотами. С куполом того же желтого цвета, что и уцелевшие над ним звезды...



Николенька распахнул глаза.

Небо дымилось хлопьями. В соборе ударили колокола. Откликнулись другие, из-за Невы. Может, откуда еще далее.

Петербург, нагруженный свечами, елками, мазурками, звоном, – Петербург отплывал от Николеньки, как светящийся корабль. «Мчимся! Колеса могучей машины роют волнистое лоно пучины». А Николенька – на берегу, на утесе, в камере, в липкой постели. Приговорен, помилован. Теперь – в Тмутаракань. В степь, к каннибалам, псоглавцам. Архитектор?! К каннибалам.

Снег, звон, отчаяние. Корабль Рождества уходит, шлепая по воде колесом.

Санкт-Петербург, 3 января 1850 года

«Ни один месяц в году не богат так удовольствиями, как шумный, веселый январь. Неистощимый весельчак, он успевает побывать на всех городских прогулках и загородных пикниках; ненасытный гастроном, он беспрестанно дает завтраки, обеды, ужины, изобретает лакомства и пенит шампанское; неутомимый танцор, он всякий день шаркает в кадрили и носится в польке; любопытный шалун, он каждую ночь толкается в маскарадах, шутит с интригующими его масками и рассыпает из-под домино остроты и любезности...»

Январь в семействе Триярских озаменовался темной слезливой суетой.

Начало ей было положено еще в канун Рождества: антихрист Маринелли ворвался в мирное жилище, обманул слуг, поднялся в залу и захватил Левушку. При этом слуги хлопали ушами, Папенька глядел двенадцатый сон, а Варенька была в беспамятстве. Потом, правда, оказалось, что, как раз когда Маринелли уносил Левушку, она поднялась сомнамбулою, но, не сделав и двух шагов, упала. Маринелли сбежал с Левушкой вниз, юркнул в экипаж и унесся в снежном мраке.

Рождество прошло в трауре. Слуги рвали на себе волосы и падали в ноги. Папенька, до этого не всегда замечавший присутствие Левушки, сделался бледен и переворачивал дом в поисках пистолетов. Дети тенями жались по углам. Очнулась наверху Варенька и слабо спросила, что такое стряслось. Обморок.

Среди этих мельканий лишь одна фигура располагалась недвижно, за столом, и осмысленными глотками допивала чай с лимоном. Почти ничего не говоря, одними взглядами из-за чашечки, Маменька упорядочивала хаос. Дети были успокоены и посланы спать. Прислуга вразумлена двумя-тремя либеральными тумакami и тоже отослана прочь. Папенька, который наконец отыскал свои пистолеты, был подозван поближе для беседы, по завершении которой

швырнул на пол футляр с пистолетами и вышел. Маменька подобрала футляр, неодобрительно осмотрела огнестрельные орудия и отнесла в другую комнату перепрятывать. Хотя из пистолетов не было произведено ни одного выстрела, само их присутствие в доме всегда беспокоило Маменьку.

Наконец она поднялась к Вареньке. И вовремя – Варенька уже стояла одетой; собралась прыгать в ночь и нестись неизвестно куда. Увидев такое несвоевременное воскрешение дочери, Маменька замотала головой. Растратив всю свою риторику внизу в зале, она произносила одни только императивы; Варенька тяжело, с хрипом, дышала. Кончилось тем, что мать и дочь рухнули друг на друга и разрыдались на два голоса. Они неистово обнимались, вытирали друг другу слезы, убеждали и гладили по спине. Варенька капитулировала, дала себя освободить от одежд и уложить снова в постель. «Косточки, одни косточки на тебе остались», – шептала Маменька, подталкивая Вареньку под одеяло. Варенька всхлипывала и поджимала под себя тонкие ледяные ноги. «Обещаешь?» – повторила Маменька. Из-под одеяла утвердительно всхлипнули.

Успокоившись, Маменька добралась до столовой. Под потолком колыхались гирлянды, горько пахла елка. Маменька опустила в кресло и стала смотреть на нее. Поднялась, вышла; вернулась со свертками. Принялась подкладывать под елку подарки, не исключая и деревянной лошадки – для Левушки...

Утром снова явилась Анна Вильгельмовна, неся на крыльях новости из крепости. Петрашевцев отправляли; родню не пускали, но ближе к обеду в сердцах крепостного начальства наметилась оттепель.

Поблагодарив со слезой Анну Вильгельмовну, Триярские стали решать, кто поедет проститься. После дебатов снарядили родителей, сына Федюшу, который был следующим после Николеньки отпрыском мужского пола и пылким сердцем, и упрямую Вареньку. В крепости семейство сначала обдали холодом, но Анна Вильгельмовна отправилась с Варенькой прямо к коменданту; дуэтом они растопили старика. Триярских проводили в нижний этаж комендантского дома, потопили для порядка, а затем втокнули Николеньку – уже в дорожном полубубке. Следом вошел часовой, зевнул и стал наблюдать.

Семейство нахлынуло на Николеньку и чуть не сшибло с некрепких ног. Папенька, забыв свой агностицизм, крупно крестил Николеньку и шевелил кадыком, давя сухие слезы. Братец Федюша мял Николенькину руку: «Брат, ты это... Ты, этого...» Маменька гладила Николенькин полубубок и глядела на впалую щеку сына, желая поцеловать и отчего-то боясь, что получится неловко. Одна только Варенька стояла чуть в стороне, с какой-то тяжелой мыслью.

А Николенька улыбался, говорил, что чувствует себя бодро; что будет им писать; что о поездке в Азию давно мечтал, степи на него действуют благотворно; архитектору он не забросит и будет развивать. Вспомнил Наполеона: «*Les grands noms se font à l'Orient*»⁴ – и сам рассмеялся...

– Варенька!

Она смотрела на него.

Сквозь росчерки троеперстий; сквозь Маменьку, дотянувшуюся, наконец, до Николенькиной щеки; сквозь топтавшегося медвежонком Федюшу. «Варенька!» Синие глаза посмотрели на Вареньку. По одной крохотной Вареньке в каждом зрачке. (Детские игры; брат и сестра; песчаные улицы Северо-Ордынска; песок в сапожках.) Она стояла – в черном, старившем ее платье – на фоне стены мутного имперского оттенка. (Он, трехлетний, бежит за ней по солнечному паркету, падает; она останавливается, смотрит на него, поднимает, отряхивает от воображаемой грязи.) «Варенька...»

⁴ Великие имена делаются на Востоке (*фр.*).

Она стояла на фоне стены.

Часовой поднялся со стула.

Но прежде чем объявить свидание окончанным, часовой отметил, усмехнувшись в соломенный ус, сходство брата и сестры. Действительно, их лица, раньше бывшие просто похожими, теперь казались одним лицом, удвоенным какой-то дагерротипной магией.

– Свидание окончено!

Варенька подошла к брату и обняла его за плечи.

На следующее утро она уехала. Всю ночь до этого пламенела бредом, утром обтерла лицо льдом и приступила к сборам. Маменька ворвалась в комнату, глянула на дочь и смирилась. Осела на кушетку: «Ты, как туда приедешь, будь с ним помягче, с шарманщиком этим». Варенька молчала и продолжила сборы. Только когда при ней стали укладывать Левушкины вещи, Варенька, словно истратившая завод, застыла. Потом снова тихо говорила с прислугой, что-то обещала поднявшимся к ней младшим братьям и сестрам, нервно оправляла дорожное платье. «Может, еще устроится у тебя все с этим нехристом», – баюкала сама себя советами с кушетки Маменька. Хотя Алексей Маринелли был итальянцем лишь на сомнительную четверть, Маменька, считавшая всех итальянцев атеистами, звала зятя за глаза нехристом.

Как всегда при сборах, пахло пирогами с капустой в промасленной бумаге, пролитыми духами и мешочками с табаком, которыми Маменька любила перекладывать вещи. Под конец запахло лимонной цедрой: Маменька завлекала дочь за чай с лимоном, «теплом на дорогу запастись». Варенька послушно глотала чай, не чувствуя ни кислоты, ни тепла. «Еще ложеньку сахара?» – заглядывала ей в глаза Маменька.

После Варенькиного отъезда дом впал в оцепенение. Маменька слегла, снова стала вызывать к постели для докладов. Папенька окончательно утонул в философских мыслях, склоняясь к манихейству. Жизнь, хотя все еще мутная и клокочущая, кой-как входила в повседневное русло.

А Вареньку, когда прибыла в Новгород, ожидал мрачный сюрприз. В прежнем их жилище уже обитали незнакомые люди, а никакого господина Маринелли и сына не имелось. Дворник сообщил, что барин изволил съехать месяц назад, дойдя перед тем до полного эпикурейства. Куда при этом исчезли оставшиеся вещи и мебель, дворник не знал: эпикуреец съехал в потемках, вещей при нем не было видно.

Сжав виски, Варенька покинула прежнее жилище; показалось, что кто-то за ее спиной произнес: «Несчастливая...» Нужно было повернуться, да шея окаменела.

Остаток дня ушел на бесполезные визиты к знакомым, к сослуживцам мужа и даже – подавив спазм стыда – в один известный трактир. Знакомые и сослуживцы сочувствовали и поили чаем. Никто ничего толком не знал. Некоторые осторожно предлагали остаться ненадолго у них. Варенька благодарила и намекала – причем с каждым новым визитом все определеннее, – что ей почти ведомо, куда мог направиться ее муж с сыном.

Посетила проклятый трактир; при ее появлении сатурналия притихла; прежние собутельники Алексиса закусали губу. Забормотали нечто невразумительное, постепенно, однако, смелея. Один, большой и потный, начал теснить Вареньку к выходу. «Мы, сударыня, вам глыбоко сочувствуем, но с прискорбием заявляем, что супруг ваш сам кругом нам должен остался и бежал, как рязанский заяц». Добавлял еще что-то и все накатывал на Вареньку грудным мясом и шерстью, клубившейся от самой шеи.

И Варенька, отступавшая, таявшая перед натиском трактирной плоти, вдруг остановилась. Подняла голову, заиграла улыбкой: «Благодарю за сведения. Теперь мне точно известно его местонахождение». И вышла. И снова мерцнуло: «Несчастливая...» И снова не смогла оглянуться, силы кончились, стекли водой, ушли в толщу земную.

Утром, пристроив часть поклажи у знакомых, она выехала из города. Промелькнули пухлые византийские церкви, пролаяли собаки. Замелькали леса. Варенька ехала на восток: туда, куда, по ее расчетам, отбыл супруг ее, Алексей Маринелли, с сыном Львом. Расчеты эти казались точными, путь недолгим. Царское платье решила пока не сжигать и не выбрасывать, а приберечь на случай денежных затруднений. Равно как и диадему. «Как холодно», – думала, глядя на отбегавшие назад стволы и ветви.

– Как холодно...

А какой-нибудь сотней верст далее летела другая повозка. И качалось в ней лицо, похожее на Варенькино и черточками, и печальным колоритом. Только вот арестантская растительность на лице и солдатские одежды. Скользят полозья; вспучиваются на небе облака, пламенея к закату. Отыграет закат, блеснет каплей золота в синих Николенкиных и серых Варенькиных глазах – и здравствуй, ночь. Вот и звезды восходят над повозкой, каждая величиною в подслащенный морозом капустный кочан. Пробуют голоса ночные птицы, пробегают по хищным делам своим лисы и волки.

Вдруг желтый, непохожий ни на какие небесные предметы, огонь зажегся над дорогой. То ли блудная комета выхвостилась, то ли звезда самосветка. «Экая звездовщина!» – не одобрили ее появление ямщики, эти главные наблюдатели небесных сфер на Руси. Сельские волхвы, шептуньи и звездолюбцы также приметили ее. Повытаскивали свои «Зодии» и «Аристотелевы врата», подоставали из чуланов самодельные созерцательные трубы, поплевали на стекла и вперились в новый небесный предмет. Крестьян, соскучившихся от зимнего бестружья, звезда втокнула в натурфилософские беседы; называли они ее «кометой» и «проказницей» и оттого ожидали наступления проказы. Не укрылась звезда и от образованной публики, вкушавшей по своим берлогам крепкие напитки. Кто-то из помещиков даже полез ради созерцания на крышу и чуть было не свалился: плохо оборудованы русские крыши для астрономии, особенно зимой. Наконец, промелькнула звезда в одном полицейском донесении. В нем рекомендовалось экстренно, для противоядия суеверию, запросить мнение науки о новом небесном светоче и т. д.

Повисев немного, звезда погасла.

В дороге, 2 февраля 1850 года

Пустыня. Зной, движение песка. Вдоль расплывающегося горизонта движется повозка. Зимняя повозка с ямщиком под медвежьей полостью, двумя лошадками и колокольчиком. Во внутренностях повозки трясется молодой человек, Николай Петрович Триярский. На лице – борода, проросшая в дороге; от дыхания отлетает и блекнет пар. На ногах – колодки; в ушах – трень-брень, колокольчик, дар Валдая. Повозка летит по пескам, почти не касаясь их зернистой материи. Долетев до середины горизонта, тает, как кусок черного сахара. *Не лепо ли ны бяшет, братие?* Не лепо. Бред, мираж, Обуховский дом печали. И «братия» где же? Распылило братиев по Сибири, по Кавказу, по глухонемым норам – тсс... Ходили мальчики чай пить по пятницам, дочаевничались до каторги. *Не лепо ли ны бяшет, братие, начяти старыми словесы трудных повестей...* Песок превращается в снег; повозка звонко садится на него, как смычок на струну; трудная повесть косноязычно катит старый свои словесы. Николенка Триярский летит на Восток, в степь, солдатствовать. Родня осталась в Питере грустить, кроме сестрицы Вареньки Маринелли – не пишет Варенька писем; Маменька гадает о ней на кофе. Николай Петрович, поплатившийся за г-на Фурье и архитектурное вольномыслие, катит в Новояуртинск в ссылку к эфиопам, к антиподам: дзын по снегу. А Маменька глядит, жмуря один глаз, в пророческую чашечку: то ли глаз притупился, то ли кофе – дешевка, тьфу – ничего не понять, туман. Зимняя муха устраивается возле Маменьки на скатерти, умывая лапками глазастое личико. Не лепо ли ны бяшет, братие? Расфыркнуло петрашевских братий по всей России. Лишился Петербург беспокойных своих ангелов, серафимов прогресса и равноправия, нервных глотателей чая. Постарела вмиг, обрюзгла столица. Оплакивает каменной жабой головастых маль-

чиков своих, петрушек своих, петрашевцев. Бьют на Петропавловском колокола; трут тряпкою маслянистый церковный пол; смотрят на женщин; разворачивают газеты; потеют в трактирах, выходят по нужде, вкусно придремывают под сонное жужжание «Северной пчелы». Хрипло дышат каминные, льются в зимнее небо дымы и музыки. Невский блистает экипажами; в зимних прогулках господствует легкое пальто, счастливо успевшее согласовать удобство вкуса с требованием климата; на дамах бархатные мантильи, обшитые собольим мехом; на мужчинах – бобровые воротники, на детях – польта из цветного жаконета. Государь император обсуждает сам с собою детали предстоящего смотра, вдруг вспоминает Вареньку; останавливается, удивленный таким сюрпризом памяти: «Ах, не с нами обитает Гений чистой красоты...» Рассеянно перебирает бумаги, шлет милому видению мысленный поцелуй, возвращается к смотру. Международные обстоятельства усугубляются: Франция безумствует, турки нарываются на хорошенькую порку.

Память заволокло, подробности расплылись, дорога оказалась одним бесконечным белым полем. На это поле вдруг набегал лес и, помелькав, отшатывался в сторону. Или церковь, белая, как мертвая невеста, выплывала вдаль, играя золотым куполком, как обручальным колечком.

– Россия, Россия, Россия, – бормотал Николенька, промерзая до языка, до головного мозга. – Великая Белая Скрижаль, никому не удалось заполнить тебя письменами! Как была ты бела и холодна от века, так и осталась. Что на тебе написано? Многоточия изб да кляксы уездных городов. Да разрозненные буквы монастырей, словно выписанные сонливым семинаристом: рассыпаны по белому листу то ли для шарады, то ли для упражнения. Не выросло ничего из этих букв, не слепились из них слова, не окоротили пространства. Ни греческие буквы церквей, ни немецкие вензеля государства не смогли заполнить, утеснить тебя, белая пустота, Россия, Россия...

Белое поле, маленький ползущий возок.

Избы стационарных зрителей, где пьянеешь от тепла и подкисшего духа.

А они, лакомясь по пятницам чаем, думали это переустроить. Переуплотнить Россию, перекроить маникюрными ножницами Фурье. Заседая за самоваром, читая друг другу рефератики. Отражаясь изломанными лицами в медном брюхатом божестве – желтом пятнышке среди снегов. Солнечный божок, фыркающий в подставленную чашку; горькие, с парком, глотки, с которых тянет в сон и утопию.

Избы стационарных зрителей, где не успеваешь прогреться, а только обольститься теплом; где со стен глядят зацелованные мухами гравюрки, пейзажики и портреты государя. Под портретами суетятся зрители; лезут пером в жерло чернильницы – за мыслью, за словом, за росчерком. Чернильница извергается записью на сонный лист; и снова в сон под гудение стихии и утешительную арию вскипающего самовара.

Воробыиными стайками скачут по снегу деревни, избы, хмурые церкви и веселые кабаки, откуда мог вдруг вывалиться мужик без порток со счастливым лицом Сократа, познавшего дуру-истину. У одного такого кабака замер возок, прижатый густым, как ведьмино молоко, снегопадом. Внутри было шумно и пахло до того неблагоприятно, что Николенька зажмурился; дымилось веселье. Посредине приплясывал натуральный медведь с подтаявшим снежком в шерсти; на голове шляпа, к правой лапе прицеплена дудка. Тут же в рогатой маске и в тулупе кружился товарищ его, щелкал деревянной челюстью и представлял козу. Медведник-поводырь с худым, высосанным изнутри лицом, шлепал по балалайке.

– Медведь с казою прокладываются, на музыке своей заваляются, медведь шляпу вздел да в дутку играл, а каза сива в сарафане синем с рожками и с ложками скачет, вприсядку пляшет!

Николенька глядел на пляску, ускоряющуюся по мере того как трио, особенно медведник, которому все подносили стаканчик, отогревалось. Поднесли и козе; та покрутила рогатой пер-

соной да пощелкала челюстью; но после крика медведника: «Пей, Илюха, согрев придет!» – отвернулась, совлекла маску и вкинула в себя стаканчик. Николенька успел увидеть детское испуганное лицо, словно ушибленное вдруг: подросток лет одиннадцати. Маска надета, покачнулись, коза снова двинулась в пляс, разлетаясь потасканной юбкой и лязгая челюстью. Веселее зазвенела балалайка, блеснули деревянные ложки; полетели в медвежью шапку монеты. А коза все вальсировала, шлепала ложками, била в бубенцы, шалила на балалайке, подкидывая и ловя ее, пока вдруг не бросилась из круга...

У нужника Николенька столкнулся с поводырем. «Из благородных он, желудок ему, видать, от отца достался, отец – барин, девку попортил: в жены, говорил, возьму – воспитаю тебя, дура, до благородного состояния и возьму, учись пока кадриль плясать. Она в кадриль-то поверила, а потом родня его про это прослышала: плясунью со двора, а у ней уже в брюхе от барина гостинец. Два года как преставилась, грешница, а я теперь через ее кадриль мучаюсь – Илюха сам парень плясучий, да хворает часто, желудок в нем барский, ни на что не пригодный. У бар желудок-то на французских харчах воспитан. Во, слышь, как его дерет...»

Из нужника вышла коза и остановилась. «Ну что, Илья-мученик, всю юбку обгваздал?» – приветствовал козу подзатыльником поводырь. Рогатая маска помотала головой и всхлипнула. «Эх, несчастье мое... – пробормотал поводырь. – Иди, Анфису отвязывай, пока выюга стихла... Подай, барин, медведю на пропитание!»

Новоюртинск, 16 февраля 1850 года

– Просыпайсь, барин!

Николенька зажмурился и чихнул.

Чих улетел в пространство, как брошенный мяч. Пространство колыхалось вокруг возка, разрываемое в клочья ветром и снова неаккуратно сшиваемое на грубую ледяную нить. А возок уже огибал холм, где вдруг, как грабитель из-за угла, выскочил на него весь Новоюртинск, со всеми своими избами, деревянными минаретиками, крепостным валом и другими приметами, которые придется Николеньке выучить – и выучить крепко.

И как всегда, в самое неподходящее для таких визитов время, Николеньку посетило счастье. Русский человек! Не надежда, а мечта умирает в тебе последней. Надежда усопнет в холодной постели, среди пустых бутылок, зверя таракана и дырявой крыши, и только мечта деревенской дурочкой будет скакать по дому, наигрывать на свирельке и всё подскакивать, заголяя свои убогие девичьи капиталы...

Сердце вырвалось из груди, пробило покров кибитки и бросилось в небо. «Небо!» – воскликнуло сердце. *Просыпайсь, барин!* Вас ждут великие дела... Николенька сладко потянулся и стал представлять, что въезжает в некий восточный город, набитый всякими чудесами и ароматами... «...На рассвете он прибыл, бледный, в плаще изгнанника, в крепость Нау-юрт. Соки в его организме пришли в волнение и беспорядочно смешались друг с другом. Желчь растеклась по его юным членам, пульс участился, взор затуманился. Горестный вздох слетел с его уст, так что даже львы и тигры, видя это, обронили слезу. Стражники же, сопровождавшие его, рыдали в полный голос и кружились вокруг него в скорбном танце. Заметя его со своих башен, жители вышли из крепости и приветствовали изгнанника чтением бейтов и исполнением мелодий, приличествующих случаю...»

Новоюртинск, еще весь в залоснившемся халате сна, лениво просыпался. Выгребалась из печей зола, которая по весне пойдет удобрять здешние скудные огороды. Вставали, побрякивая, отцы семейств, плыли к рукомойникам прочищать почтенные свои носы, зажимая попеременно то правую, то левую ноздрю и производя нехитрые симфонии. Кое-где, впрочем, обходились без канительного зимнего умывания, довольствуясь протираaniem глаз с помощью послушавленного пальца и вдыханием табака, прочищавшего нос покрепче любой гидропатии.

Просыпалась казарма, под звук сиплой трубы, под мычание, кряхтение и шевеление солдатских тел; с кухни сладко тянуло гарью.

В церкви, возведенной попечением местных властей на почти добровольные пожертвования купечества, били к заутренней. Церковный староста, крещеный калмык Вакх, осматривал свое пахнущее маслами и воскурениями хозяйство, проверяя, всё ли на своих местах. С шелестом облачался в холодные ризы батюшка, отец Геннадий, держа в амбарах памяти своей имена мучеников Памфила пресвитера, Валента Диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии, Исаии, мучеников Персидских в Мартирополе и преподобного Маруфа, епископа Месопотамского, – святых покровителей дня сего.

Но вот и ризы надеты, вспырнуты ранним солнышком; звучит, рассыпаясь над городом, колокол; вторят ему колокольцы на Николенькином возке, улыбается ссыльный и дует в замерзшие ладони...

От этого утра, наполненного ударами ветра и обмороженным солнцем, осталась запись в гарнизонном реестре – о прибытии Николая Петровича Триярского, дворянского сына, двадцати лет от роду, и о поставлении его на гарнизонное довольствие. В отдельную тетрадку была внесена запись более подробная – на случай, если вышеназванный дворянский сын возымеет желание бежать. Отсюда начальство могло бы узнать, что новоприбывший имел: нос прям, губы умеренные, щеки голые, кудрю волнистую, члены тонкие, глаза синие вялые.

Записав эти сведения, гарнизонный писарь прищурился и дописал сбоку: «Родинок, бородавок, пятен, веснушек, прыщиков, лишаев и других примечательностей на лице не замечено».

Поставил число, закрутил вензелястую подпись и, нежно подув на чернила, закрыл тетрадь – до особой надобности.

Новоюртинск, 20 февраля 1850 года

Из-за лесику-лесочку,
Из-за сырого из борочку,
Сыр-борочек разгорался,
Хорош-мальчик нарождался,
В солдатушки жить согождался.

Город Новоюртинск принадлежал к числу случайных городов, которые возникают на коже государства вроде прыщей, в полной стороне от фанфарного хода истории. К моменту прибытия Николая Петровича город состоял из бывшей крепости, Татарского квартала и Кара-Базара, что в переводе с туземного звучало как «Черная Ярмарка». На этом Кара-Базаре не наблюдалось торговли, разве что только в баснословные времена, когда луч цивилизации еще не коснулся Киргизской степи. Тогда здесь водились юрты киргизцев, в которых они прозябали, чередуя мирные годы с годами набегов и грабежей, приятных их сердцу. Когда же они пресыщались от набегов и дикости, то позволяли сартам и персиянам, этим азиатским любимцам Меркурия, приходить сюда и устраивать базар, на котором киргизцы покупали все то, что в другие годы добывали силой и лихостью. Затевалась торговля, тут и там слышался мелодический звон монет, под который ухищренный в коммерции сарт объегоривал простодушного киргизца. Однако ж со временем базар наскучивал гордым сынам степей; гостей киргизцы прогоняли, а сами пускались в новые набеги.

С тех пор часть города, сливающая теперь самой презентабельной ввиду трех гражданских зданий и пяти деревьев для тени и прогулок, называлась Кара-Базаром. Название это стоило бы давно переменить на более отражающее веяние эпохи. Однако местная администрация никаких мер против прежнего названия не предпринимала и как бы не замечала его. Что говорить,

если соседняя с нею часть, где проживал новоюртинский градоначальник, звалась отчего-то Гаремом!

Гарема у градоначальника Саторнила Самсоновича Пукирева не имелось.

Имелась у него супруга-немка, и даже мысль о многоженстве никогда не посещала его коротко, по-военному, стриженную голову. Правда, были года три назад шалости с супругою почтмейстера – женщиной пламенной и оттого предававшейся в Новоюртинске меланхолии. Однако и в моменты жертвоприношений местному Купидону Саторнил Самсонович оставался мысленно верен своей тощей Ксантиппе и уж никак не допускал того, что шепчущая разные глупости почтмейстерша может быть приведена в его дом эдакой мадам Агарью... И испытал облегчение и даже легкий приступ счастья, когда почтмейстера унесло из Новоюртинска ветрами служебного повышения...

Протекло три года; буранные зимы таяли под золами весен, три пыльных лета промывались сентябрьскими лазурями, когда степь делается прозрачной и тихой, прежде чем накрыться дождями и вспениться грязью... Все эти три года Амуры не тревожили здоровое, величиной с крепкий кулак, сердце Саторнила Самсоновича. Он потолстел, стал чаще говорить супруге «душечка» и прилежать в государственных делах, которых, правда, было немного: все как-то управлялось само собой. Лишь дважды приходили к нему письма от в очередной раз непонятой человечеством m-me Агари, на которые Саторнил Самсонович собирался ответить, да как-то все не выходило.

Уныла жизнь мужчины после сорока пяти, если он не Гарун-Эльрашид, а всего лишь начальник карикатурного городка, начирканного безвестным карикатуристом среди степей и варварства. Добро хоть церковь построили, начальству представить не стыдно. Сколько купеческих бород пощипать пришлось, сколько солдатиков на строительные леса загнать, сколько их, по неловкости, слетело оттуда... Зато какая гладкая архитектура! Славная церковь... (Саторнил Самсонович солидно перекрестился.) Однако нет-нет да и пощекочет Купидошка своей стрелой, словно нащупывая в градоначальниковых телесах уязвимые места и ахиллесовы пяты. И то кухарку свою Саторнил Самсонович по-отечески приобнимет, то супруге доктора в мазурке так ручку сожмет, что она только «ах!». То даже к супруге своей подползет ночью с притязаниями, отчего та сквозь сон отмахивается и по-немецки гавкает. А то вдруг Саторнил Самсонович и на киргизку прохожую засмотрится: эх ты, стрекоза, черны глаза, как бы с тобой завести эдакую диспозицию да и ознакомить с русским амуром и дарами цивилизации, – кроме своей юрты и кумыса поди и не видала ничего!..

Но дальше этих проектов дела не шли, а шли – годы, назначение в более просвещенное место все откладывалось. Уныла жизнь мужчины после сорока пяти, одна радость: завернуть ус да и замутить карточную битву. И пусть супруга гоняет морщинки неудовольствия по глупому своему лбу: и не такие семейные Помпеи и Геркуланумы переживали.

Одно волновало: повадились в столице высылать в Новоюртинск вольнодумное население: то казнокрадов, то масонов, то поляков... В столицах, конечно, воздух от этих выселений чище и монархичнее, а новоюртинскому начальству – такая головная боль, что никакой брусничной настойкой не сведешь. Собравшись у Саторнила Самсоныча за ломберными столами, начальство строило на этот предмет разные гипотезы.

«Что же они их все в Новоюртинск, зачем тогда Сибирь нужна, если каждого – в Новоюртинск?» – «Видать, заполнили уже Сибирь масонами и инородцами, вот теперь нам их и доставляют». – «Да где же Сибирь заполнишь? Она – вон какая... Всю Россию в нее сошли – не заполнишь!» – «Да не только Россию: всю Европу туда, никто и не заметит, оно ей только на пользу пойдет!» – «Да что Европу! Китай, целый Китай туда...» – «Нет, Николай Игнатьевич... Китая нам в Сибирь тащить не надобно!» – «Отчего же?» – «Да оттого самого! Азбука у них подозрительная. Видал я ее. Вся написана так, чтоб чужой не понял. Сами ее разумеют,

а другим – неудобства чинят. Все закорючки и тараканчики. Вот, боюсь, они со своим каракулями всю нашу Сибирь и... окитают!»

Согласившись оставить китайцев при их нынешнем местоположении, начальство снова принималось гадать, для какой пользы вольнодумствующих ссылают в Новоюртинск. «Нет, наверное, за этим какая-то государственная мысль прячется». – «Да, без мысли не обошлось...» И принималось начальство вспоминать те золотые времена, когда солдатик катил в Новоюртинск простой, не порченный университетами, без идей, принципов и прочей чумы. А теперь что? И начальство со вздохом усаживалось за ломберные столы, скрипя стульями.

Новоюртинск, 25 марта 1850 года

Вот и вечер пронес над бараком огарок, пошел со степи ветер. Заплакали с деревянных минаретов муэдзины. Николенька обходил бараки, то ли гулял, то ли просто перемещался. Он уже привык и к этому ветру, к этим закатам, подсинивающим степь до горизонта. Привык к скудной солдатской диете, из четырех копеек, отпускавшихся на приварок. Мысль стала мутной и солоноватой, как здешняя вода. Большинство солдат, хотя и оказалось здесь за вольномыслие, давно уже духовно скукожилось и если и имело какие-то мысли, то только в направлении вина и женского пола. Вино было дрянным; местный женский пол вполне с ним гармонировал. Уходя на свидания, солдаты молились, чтобы не схватить дурной болезни; особенно помогала, как говорили, молитва какому-то святому с песьей головой. Но как звали святого и отчего голова его была столь неординарной, Николенька уже не помнил.

Николенька вообще мало что помнил. Да и для чего была ему нужна здесь память? Степь да степь кругом, путь далёк лежит; то есть никуда уже не лежит – вот он, пункт его назначения, городок, затерявшийся сухой крошкой на бескрайней скатерти киргизских степей. О чем здесь думать, за тысячу верст от университетов и типографий; о чем помнить – за тысячу верст от библиотек? Опускается солнце; холодает; поднимает Николенька колючий ворот шинели.

– Богатство мысли, – зябко рассуждает он, – происходит от разнообразия ландшафта; чем богаче контрасты гор, лесов, морей, равнин, тем контрастнее мысль, тем затейливей пляски Мирового *духа*, сшибки тезисов и антитезисов. Оттого так чудовищно богата мысль Европы, оттого не угонится за ней Русь со своим лишенным контрастов, а значит, и диалектики, ландшафтом – растекается по нашим степям всякая мысль, не за что ей споткнуться, опрокинуться в свою противоположность. Но в России – хоть леса... Антитезиса из леса, конечно, не выведешь; ну разве что категорию небытия, дремучего русского небытия – к пустому бытию степей. А здесь – всё... Пустое, безмозглое пространство; ровный, как по линейке, горизонт. Идеальное место для убийства мысли, едва зачатой. Вот сейчас я о чем-то думаю, осуществляю мозговые процессы – дунет ветер, провалится взгляд в пустоту степи, и забуду, о чем думал: раз – и забуду. Пропала мысль в пространстве. Сколько же здесь нужно будет построить, сколько напустить каналов, поднять городов, насадить садов, чтобы в этой пустоте смогла произойти мысль... Произойти на свет, обжиться среди архитектурных линий, заменяющих ей естественные контрасты природы... И кто это все будет делать? Не знаю...

– И я не знаю.

Николенька вздрогнул.

За спиной стоял человек в сером, беспокойном от ветра халате. Полы халата задирались, выставляя на обзор худые безволосые ноги.

– Вы что-то сказали? – переспросил Николенька, не зная, как поступать со своим внезапным собеседником, врезавшимся в Николенькину мысль в самом ее быстром течении.

– Павлуша Волохов, обитатель гошпиталя. Простите, прогуливаюсь вот, знаете. Господин Казадупов, фельдшер, прогнали меня гулять, делай, говорят, моцион, а то сидишь и сидишь, а сидеть вредно. Вот и брожу, пока они по мне не соскучатся и обратно в помещение не пригласят. Они к тому времени там все приготовят, проветрят по своей науке, такие вот они, госпо-

дин Казадупов, фельдшер. Они мне один раз так и признались: они – научные деятели и у нас временно, ибо в душе они просветители, и палец им в рот не клади. Вот, говорят, послужат они здесь еще немного и двинутся на университеты: зажгут их синим пламенем. А иногда от огорчения ударят меня вот по этой щеке и скажут: «Дурак!» А я им на это воскликну из всех свирелей души своей: «Верно, дурак был, дурак есть, дурак буду быть!»

И раздвинулся в просторной розовой улыбке.

– А вас увидал, и как вы тут сами со своим разумом дишпуты ведете, дай, думаю, погреюсь возле чужого ума. Потому что и глупому тоже умственной травки пощипать надо...

Я солдатства не боюсь,
Казной-деньгой откуплюся;
Казна-деньга не помогает:
Добру-молодцу путь-дорога,
Дороженька немалая,
Немалая – трактовая.
Ох! вы братья, мои братья,
Запрягайте коней,
Пару вороную,
Карету золотую...

Санкт-Петербург, 23 апреля 1850 года

В годовщину Николенкина ареста лил дождь, улицы раскисли; дворовые собаки превратились в каких-то мокрых чертей; некоторые лаяли, выражая несогласие с погодой; другие только вздыхали про себя: «Батюшки, ну что же за такая жизнь?»

У Маменьки сотворилась меланхолия, она сидела в креслах и рисовала себе Николенкины бедствия, голод, выстрелы и другие материнские апокалипсисы. Впрочем, от Николенки было письмо, где он уверял, что жительство его вполне сносное, пули не свистят, благодаря смирности киргизцев; и что среди тамошних солдат встречаются даже положительные экземпляры. Но Маменька этим словам не верила, считая их неловкой декорацией. Киргизец конечно же есть дикий вандал и ласкает мысль о войне; может, даже уже и занялся ею. И пули, конечно, свишут, и земля дрожит, один Николенка по наивности ничего не замечает.

Вздыхнув, Маменька перешла к еще более горестному предмету – Варваре Петровне. Как уехала на Степана Первомученика, так и канула. Ни письмеца, ни другой утешительной бумаги. На Крещение случилась оказия в Новгород: ехала верная женщина; хоть из мужниной родни, а приличная. Маменька напоила ее пред отъездом чаем и поручила разведать о Вареньке. Женщина выпила чай до донышка и уехала; поползли недели; отчета от посланницы все не было – видно, все же сказывалась ленивая мужнина кровь, им бы всем только в креслах сидеть.

Но вот из Новгорода написали; от письма Маменька слегла и два дня отказывалась ото всего. Потом оделась в черное и с неделю ездила по церквам, рассыпая милостыню и прикладываясь к иконам; Папенька сопровождал ее скептической тенью. Наконец, Маменька имела некий сон, который, если толковать по Миллеру, означал, что Варенька жива и в целости; правда, по другому соннику выходило иное, но Маменька твердо держалась первого толкования.

Какие-то смутные вести просачивались и через Анну Вильгельмовну. Вначале Маменька ее опасалась, потом прониклась. Анна Вильгельмовна оказалась обыкновенной, с тихой немецкой родней; все дни занятая хлопотливым состраданием, желанием проникнуть в чужое горе и навести в нем такой же светлый и строгий порядок, как у себя в комнатах. Будь Анна Вильгельмовна православной, ее, скорее всего, ждали посмертная канонизация и сияние икон, но

она – опять же из скромности – оставалась в тихом своем лютеранстве; может, еще из любви к гулу органа и потоку света под сводом кирхи.

Только успела про нее подумать – доложили, что явилась сама.

Маменька, поддерживаемая, как восковая фигура, спускалась в гостиную. Гостья поднялась; точно, Анна Вильгельмовна, немка быстrokрылая.

– Что с Варей?! Что с моей дочерью?!

Более всего Государь любил женщин и симметрию.

И свой Народ, естественно.

«Народ», с заглавной буквы. С заглавной «Н» – как и Его собственное имя.

За окном бежал дождь; мысли сносило в лирику. Подумалось даже об освобождении крестьян.

Нет, с крестьянами торопиться не стоит.

Он вообще никогда не торопился. Взвешивал; советовался. Внимательно выслушивал глупости. Умных людей вокруг делалось все меньше; впрочем, умных он никогда и не любил. Он любил свой Народ. Любить остальное не имело смысла.

Над головой Государя застыл огромный вензель «Н».

«Н» значит «народ».

«Н» значит «никто».

Дураки заполняют дворец. Протачивают, как насекомые, свои пути. Шуршат под обоями. Скользят по шелку кресел. Плавают в бульоне.

Но умные – еще хуже.

Дураки – насекомые.

Умные – крысы.

И Он – светлый воин, летящий над ними. Тевтонский рыцарь, прорвавшийся вглубь неведомой земли; один, без дружественного бряцанья мечей и лат за спиной.

Впрочем, нет. Он не Германец. Он – Римлянин. Все Романовы – Римляне, происходящие от Рима, Roma, Imperia Romana. Но только в Нем смысл династии достиг апогея. Сколько византийской, германской, славянской крови пришлось смешать в российском котле, чтобы романский дух Романовых стал плотью, вычертился идеальным профилем на фоне дождливого окна?

Когда Он родился, заплакал глубоким, мужественным баритоном. Бабинька Екатерина восхитилась; тут же велела начертать Его гороскоп. Итальянец-шарлатан низко поклонился, парик чуть не съехал с его плутовского черепа; и пока дворцовые священники приготавливали Таинство Его Крещения, их конкурент, в просаленном халате, листал Эфемериды. Солнце в созвездии Рака; расположение Марса предвещало победы и терпкий запах лавра, Луна указывала на чувствительность, кокетка Венера должна была наделить его сладостными дарами любви.

Все сбылось. И венки, и приторные дары Венеры.

Дураки ползали и жужжали возле Него. «Если Государя Александра Павловича можно было назвать Святым, то Николая Павловича – только Ангелом».

Умные отзывались о нем иначе.

Но чаще – молчали.

Он не был Ангелом. В отрочестве, например, искусал до крови своего воспитателя, Аделунга, церберствовавшего над Ним. До сих пор помнит вкус дряблой кожи. До сих пор помнит, как был наказан, уничтожен, морально растоптан, оставлен без сладкого. Тогда Его утешила словами нежности фрейлина Долгорукова. Поцеловала Его распухшее, уродливое от обиды лицо и попросила: будьте же ангелом, mon prince. Prince шмыгнул носом и посмотрел на свою утешительницу. Несмотря на худобу – недоброжелатели, точнее, недоброжелатель-

ницы, называли ее мадемуазель Скелет – Долгорукова была редкостно мягка. Мягкие губы, мягкие пальцы... О мягкости остального можно было только сладостно умозаключать. Тогда Ему остро захотелось искушать и ее; не от злобы – из благодарности. Она пролепетала какую-то милую французскую глупость и растворилась в тенях. Продолжения не последовало. Не по причине неприступности Долгоруковой, которая, может, простояла бы еще немного Ла-Рошелю под Его натиском да и подписала слабеющей рукою капитуляцию. Увы, еще раньше Долгорукова сдалась смерти. Двор пышно хоронил мадемуазель Скелет; недоброжелательницы нанесли гору цветов, опрысканных духами; гроб сделался клумбой, кладбище – парфюмерной лавкой. Он выбежал оттуда; в парке дул ветер; обняв ствол, Он кусал кору.

Потом Он искал Долгорукову во всех женщинах, которые дарили Его любовью. И находил. Нужно было лишь в нужный момент чуть зажмурить глаза. И представить себе Долгорукову, ветер и прикосновение ее губ.

Что-то память расшалилась... Жаль, нельзя учредить в своих мозгах что-то вроде цензурного комитета, который бы пропускал одни только нравственные воспоминания. А еще лучше весь мозг, этот морщинистый кусок мяса, переустроить по образу архитектурного сооружения. С фронтонами и аркадами. И луковками в русском стиле, чтобы не забывал, каким Народом Ему гордиться.

Только один раз Ему не потребовалось зажмуривать глаза.

Он не знал, что случилось с прелестной Varbe, Варварой Маринелли. Нравственно Он перед нею чист: выполнил обещание, помиловал мерзавцев, этих *lesPetrachevtsy*. Казнь прошла успешно; наблюдал ее, переодетым; Он позволял себе невинные карнавные радости. Объявление о помиловании произвело эффект, многие имели в глазах слезы и прославляли Его милость; даже сам Он был готов заплакать и воздать себе хвалу – разумеется, скромную. Огорчало, правда, что прелестная Varbe, стоявшая неподалеку с блеклой компаньонкой, не досмотрела представление до конца, лишилась чувств, стала бледной и еще сильнее напомнила Долгорукову на одре, только без тех ужасных цветов. Он видел, как ее увезли; видел ее брата, неприятно похожего на Varbe, молодой архитектор, жертва своих фантазий. Милосердие было проявлено; бунтарей заковывали в железо, можно было спокойно возвращаться к делам.

И Он вернулся к делам.

Он был Римлянином, самым римским, романским императором в своей династии; недаром читывал в юности Марка Аврелия. А римляне любят более всего свое государство; когда они, под влиянием Востока, научились любить сильнее другие вещи: женщин, литературу, обжорство, – Рим покатился к закату. Он не допустит заката России. И Он вернулся к делам. Воспоминания о Varbe рассеялись как дым.

Теперь Он вспомнил о ней. В этот холодный день. Римлянам было легче; в их империи было тепло, на склонах зрел виноград. А здесь... Да, Он наведет о ней справки...

Граф N вошел, благоухая, как букет роз. Начищенный до слезы паркет отразил его кривоватые ноги, идущие по нему, как по зеркалу.

Государь мраморно улыбнулся.

Граф был умен, но Государь великодушно прощал ему этот изъян. Граф обладал прекрасным музыкальным слухом на всякие сплетни и новости. «Я бы давно заменил вами, граф, все мое Третье Отделение, – шутил иногда Государь, – если бы знал, куда потом пристроить всех этих болванов». Граф на это обычно только смеялся тонким ювелирным смехом; знал, что после таких разговоров Государь обычно Третье Отделение только расширял.

Доскользя до середины кабинета, граф замер.

Часы с арапчатами проиграли «Турецкий марш». Дождь перестал; тучи, проявив либерализм, выпустили ненадолго солнце.

Граф N понял намек Государя; Государь понял, что граф N понял Его намек. Французский язык идеально устроен для того, чтобы говорить об амурных материях так, чтобы казалось, что речь идет о политике, опере или кулинарии.

– Je suis aux ordres de *Votre Majesté*, – кланяясь, выходил из кабинета граф.

– Си, ля, соль-диез, ля, до! – звенели арапчата.

Воспользовавшись паузой в дожде, Государь совершил прогулку. Сладковатый лошадиный запах, удары копыт о влажный песок.

Вспомнил поездку в Италию и обозрение Рима. Рим пах вином и нечистотами, архитектура производила впечатление. Государь вызвал к себе обучавшихся под лазурным небом русских архитекторов, молодых пенсионеров Его Академии. Доходили слухи, что сорванцы более времени проводят с бокалом и беллецами, нежели с чертежами. Государь сдвинул брови и устроил им экзамен. Вскоре Его чело разгладилось: пенсионеры застелили весь паркет ватманами и этюдами. Потеплев, Государь пригласил молодых Витрувиев сопровождать Его при осмотре римских антиков; во время осмотра обсуждал с ними секреты прочности древних махин. Заметил, между прочим, что *у нас* кирпичи класть не умеют. Среди юношей возникла непатриотичная пауза. Положение спас смелый Бенуа: принялся доказывать, что наружность здешних шедевров обманчива, что кладка не систематическая и лишь материя связки и теплый климат дают такую крепость. Сказанное Государю понравилось, особенно про климат. Он даже блеснул легким, как шампанское, афоризмом: «Жаль, что, заимствуя многое из Европы, мы не можем позаимствовать ее климат». Витрувии заскалились; Бенуа по возвращении в Россию получил место в Его Кабинете, жалованье 715 рублей серебром в год и Августейший Заказ на оформление столового белья: скатертей, салфеттов и полотенец с попугаями.

Как всегда, после мыслей об архитектуре на душе сделалось светло и прохладно. И себя Государь почувствовал даже не скульптурой, как бывало с ним в приятные минутки, а архитектурным сооружением. Вроде Соломонова храма или какого-нибудь департамента. Части Его тела закруглились флигелями, башенками, опоясались колоннадами. А в самом теле уже шуршали заседания, громоздились разные комиссии, придвигались к столам стулья с вензелем «Н». Тут же шли богослужения, колыхались фимиамы; пение рвалось под купол и стекало вниз по законам акустики. А сбоку, на антресолях, сиял оркестр и поливал кружащиеся внизу пары танцевальными звуками... И лучистая Варенька порхала по паркету, горящему, как сусальное золото; но отчего-то, фу, вился за ней кровавый след, темные пятна из-под нежных лепестков юбки, больная, неприличная кровь...

Новоюртинск, 2 мая 1850 года

Павлушка Волохов суетился вокруг своей постели, пытаясь приглушить ее нищету и наладить для сидения и принятия Николеньки и явившегося фельдшера Казадупова.

– Эк у тебя тут растараканило! – кривился Казадупов, громоздясь на Павлушкином лежаке. – Опять насекомое разводишь?

– Насекомое – тоже Божье дитя, – объяснял Павлушка. – Только масштаб в нем крохотный, оттого против нас оно существо слабое и комичное. Оно одним богатым размножением только и берет, такие вот они. Однако же если долго наблюдать его манеры, то невольно делаешься ему товарищем.

– А если товарищ этот цапнет тебя за одно место? – Казадупов подмигнул Николеньке. – Или кровушкой твоей разговееется?

– Насекомое, оно по планиде своей кусает, без злобы. Ему уж как на сердоликовых скрижалях предписано жалить, так оно это соблюдает чистосердечно, вроде дитяти, которое сосок родительницы кусает без всякой подлости. А даже если и причастится нашей кровью, так и что? В человеке кровей в избытке, отчего же не угостить братишку?

– Эк куда свернул, ересиарх! – смеялся Казадупов.

Было заметно, однако, что смеется фельдшер более ради Николеньки как свежей персоны. И прикидывает что-то себе под лобной костью – чтобы не прогадать, а может, и пенок слизнуть.

– Немец, слышал, недавно о вше много ученых книг напечатал, – развивал между тем Павлуша. – Все по-немецки и в разных благородных выражениях.

– Да ты читал, что ли, эти книги?

– Не читал. Однако одну подержал коротко в руках, так что понятие имею. Вошь – особа многомудрая. Многим святым людям компаньонкой была.

– А правду ли говорят, Николай Петрович, что вы масонский мастер? – повернулся к Николеньке Казадупов.

И, подмигнув, пропел:

Танцевальщик танцевал,
А сундук в углу стоял.
Танцевальщик не видал,
Споткнулся и упал!

Фельдшер Казадупов был человек пестрый. Был он толст, хотя и неравномерно. У него была худая, костистая голова с тонким, чутким к табаку носом. Но, попостившись на голове, толща брала свое с подбородка, обильного, с родинкой. Эту родинку фельдшер имел обыкновение тискать пальцами при разговоре, если пальцы не были заняты табакеркою, которую Казадупов называл «мамулькой» и «табакуркой».

Маленький и серый в молодости, к старости фельдшер стал разбухать, но не на тех дрожжах, на которых всходят годам к сорока пышные русские добряки, а от одной только обиды, которая болтала в Казадупове оловянной ложечкой, и взбивала, и разгоняла вширь, так что он чувствовал себя порою чуть ли не Ричардом Третьим, хотя русский человек Ричардом быть не может: Ричард, как англичанин, в сердце своем лавочник и даже злодейства свои просчитывает на счетах. Ших да ших, столько-то трупов, столько-то профита. Русский же человек если и ударится в злодейство, то уж без всякой двойной бухгалтерии: широко и заразительно. А потом сам же и погорит – от какого-нибудь мелкого арифметического промаха, который бы ни один даже самый захудалый английский злодей никогда бы не допустил.

Так что от Казадупова никаким Ричардом и не веяло, сколько бы монологов он про себя ни произносил. С больными старался быть отцом родным; грустил, когда они помирали, и утешался от их смертей спиртом, горбушечкой с лучком. Со светлой стороны Казадупова рисовало и наличие у него когда-то детей, которых, когда они были еще младенцами, он целовал в душистые животики. Младенцы пищали, Казадупов пел им козу рогатую, бодал табачными пальцами и, сочтя на этом отцовские обязанности исполненными, возвращал в глупые женские руки. Потом дети разлетелись, супруга тихо и нехлопотно скончалась; Казадупов пролил слезу и зажил беспутным, изредка используя, ради известной медицинской надобности, старуху хозяйку.

Кроме этих сентиментальных заслуг, Казадупов еще имел любовь к книгам, из которых составил недурную библиотечку. Фаворитом его был Булгарин, над сочинением которого Казадупов мог от души всхотнуть; держал он также «Кровопролитную войну у Архипыча с Еремеевной», уморительнейший опус; «Дочь разбойницу, или Любовника в бочке» г-на Кузмичева и «Прекрасную магометанку, умирающую на гробе своего супруга» г-на Зряхова. Эту новейшую литературу Казадупов иногда даже давал своим больным, чтобы отвлечь их от хандры и рукоблудия. Многие были неграмотны и букв не читали, но благодарили за картинки.

А вокруг зевала широким своим зевом киргизская степь; и ничего шекспировского в ней не было, хоть сотню верст дураком скачи. Степь да степь, никаких достойных кандидатов на

невинные жертвы, а только солдатики со своими вздохами и сифилисом – единой приметой цивилизации в этих первозданных краях. Степь да степь, да глупое, каким ему и положено быть везде, начальство.

Была, конечно, и церковь, и Казадупов, умилившись и выбрив подбородок, устремлялся порою туда. Но именно в церкви делалось ему особенно неуютно. Озираясь, чувствовал, что его словно разжаловали, понизили из фельдшера до обычного больного. Казадупов растирал по лбу жирный след от елеопомазания и холодел. И каялся на исповеди – во всем, кроме Ричарда; Ричарда приберегал.

И тут вдруг свалился на него Павлушка. Притащили совсем плохим: нате, лечите чудочудное. Казадупов даже вначале не заинтересовался. А через пару недель выходил его. Зло и иступленно, как старый бобыль выхаживает найденного в канаве полуслеплого кутю; и кутя прицепляется к жизни, круглеет тельцем и уже даже голосок подает: тыв! тыв! Так и Павлушка. Болезнь его так и осталась неизвестной, но Казадупов решил лечить его сразу ото всего – и вылечил. Есть же такие больные, в которых болезнь выпячивает какую-то девственность, мягкость. Пока здоров – и пьет, и в бордель поспевает, и Отечество защищает. А заболел – и хоть мни его в руках, как медузу. А врач, он конечно же архициникус, и цветы при нем вянут; но тут вдруг начинает циник таять и употреблять уменьшительные суффиксы. Впрочем, суффиксы – в душе, а внешне, конечно, ругается и лекарством может швырнуть. Больному, однако, все на пользу: на всех парах идет на поправку. Мужает, освежает в памяти матерные слова, мятую порнографическую картинку из-под подушки достает.

Так и с Павлушкой Волоховым. Полюбил отчего-то Казадупов это создание – русое, бестолковое, полумертвое, готовое вот-вот дернуть на поля Елисейские. Полюбил его хворь, не похожую на остальные заурядные заболевания. И главное – почувствовал сладковатый запах невинности, дикой и подлинной, без которой, как без топлива, не способна работать ни одна машина злодейства. И так исполнил Казадупов клятву Гиппократу, что даже переборщил. Стал Павлушка выздоравливать и дерзить. И делаться, выздоравливая, обычным русским мужичком, только блеклым и непьющим.

А непьющих людей еще философ Кант «вещью в себе» называл!

Новоюртинск, 8 сентября 1850 года

Посадили Ваню в сани,
Сами сели по боками,
Повезли Ванюшку во город,
Что во город – и во приемную.

Во приемной, ох, стулья дубовые.
Во стульях сидят писарчики.
Писарчики молодые,
В ручках перышки стальные...

– «В ручках перышки стальные...» И что это за город? – спросил Павлушка, лежа на теплой, с полынным запахом земле.

Рядом, обхватив колени, сидел Триярский.

– Не знаю. Восточный, с желтым куполом. Уже не первый раз снится.

– Эх, Николай Петрович, верите вы в сны, а еще академики. А в сны не надо верить, их употреблять надо.

– Употреблять?

– Сперва сон поймать нужно. Можно книгой духовной или блюдцем с молочком. Разные поимки есть. Был один капрал, он сон в сапог ловил. Такое вот. Только не всякий сон, даже и из уважения к офицерскому званию, в сапог полезет. Главное – отгадать, какого перевозчика себе сон изберет. Сны, которые поважней, на мухах разъезжают. А которые попроще, могут на клопике или даже на пылиночке верхом. Вот тут вы его – р-раз! – и ловите.

И Павлуша быстро опустил ладонь.

Поднял, показал Триярскому.

Кузнечик гневно вертел лапками; изо рта выдувалась едкая капля, на которую пленник, видно, возлагал последнюю надежду.

Лето было жарким, бестравным; кроме жары, ничего другого в нем и не было. Солдаты обтирали лбы тряпками и пили мутную воду, от которой в желудках делались революции и исполнялись пневматические марсельезы.

Заведение фельдшера Казадупова процветало. На лежанках стонали мученики живота; кто-то, голый, пощипывал гитару. Самого Казадупова не было; зная о дарах здешнего лета, он загодя вырвал у начальства отпуск и укатил в Оренбург, отдохнуть и потешиться тамошней ухой. Вместо него в гошпиталь полагался другой доктор, который пользовал штатскую часть Новоуртинска; однако доктора каждый день куда-то вызывали, выкладывали обложенные языки и предъявляли вздутые животы разных величин и фасонов; доехать до гошпиталя доктор все не мог. Зато на правах гения места здесь воцарился Павлушка: ухаживал за мучениками и развлекал разговором.

Иногда на помощь ему приходил Николенька. Благо сам он животом почти не маялся; наблюдал суровую гигиену; воду отстаивал научно, на серебряном гривеннике. Стол Николеньки сузился до хлеба, картофеля, меда и яиц; иногда трапеза украшалась кислым яблоком, пенившимся при надкусе. От такой диеты Николенька опрозрачился, зато желудок варил молча и гармонично.

Была, может, и еще одна причина его здоровья: тайная. После отбытия Казадупова Павлуша открыл фельдшеров тайник с бутылкой спирта.

– Вот она, небесная справедливость. – Павлуша разливал спирт в пузыри от лекарств. – Думали господин фельдшер, что скрыли сию жемчужину, и перемудрили...

Спирт уже успел настояться на растениях, качавшихся в нем водорослью; накидал их Павлуша, травная душа. Николенька повертел своим фиалом, примериваясь; Павлуша умолк и впал в священную задумчивость. До того Николеньке казалось, что Павлуша – редкая непьющая порода русского человека; он вопросительно глянул на товарища.

– Так и не пью, – пожал тот круглыми плечами. – Разве же в церкви, вином причащаясь, пьянствуют? Не пьянствуют, но страдают. Ибо жизнь наша – невольное кровопийство и кровоедство; того не замечаем, так-то. В утробах мамкину кровь пьем, потом уже у родичей, у кого душевная кожа тоньше. Так незримо кровью и насыщаемся, друг от друга; оттуда и грехи образуются путем химии и алхимии. Потому каждый ищет чужой крови, на дармовщинку, свою скаречничает. А тут Христос пришел: тук-тук, вот вам, люди, кровь Моя, пейте, братцы, да веру разумейте. Оттого христьяне свою кровь жалеть не должны; а чужой сторониться, ибо пьют они кровь Христову, с креста капавшую, которая в землю ушла, в виноградной ягоде вышла, оттуда – в церковь, чашу, в живот. Вино и прочая брага – та же кровь, только подслащена, оттого что в земле настоялась, с кровью усопших смешалась, корнями из земли зачерпнута, стволами да плодами в воздухе подвешена; пьем ее, пьянеем, думаем – от хмеля, а по правде – от крови. А пить нужно так, с молитвою. Первая чаша – Христа кровь и Святых Отцев, Ему последовавших и крови свои миру радостно давших. Вторая чаша – от Пророков и Праотцев, чьими кровями вода на той свадьбе в вино обратилась. Третья чаша – простых мужей и жен христианских, по Христу живших и кровь не приберегавших... Эта – менее полезная, оттого

что и нехристиане многие нечаянно Христу следуют и кровь свою людям открывают, а земля, ей-то что, все в себе смешивает. Вот после этой чаши не питье уже идет, а кровопийство. Четвертая чаша – это уже... Это уже всякая персть, всякая кость, на земле жившая, поди разбери, добрый был покойник или зарезал кого, все вперемешку. А вот пятая – точно злодейская кровь, это уже адский круг, и каждая следующая – новый круг пламени. И так – до Антихристовой чаши, потому что когда Господа нашего распяли, то Антихрист тоже велел под землей себя распять и чтобы крест был такой же, и толпа, и Иерусалим подземный наколдовал. Вот только кровь у него из ладоней и ребра не текла, не дал ему Господь крови. И плакал Антихрист, потому что все художественно сотворил похожим на Голгофу, а крови из себя выдавить не мог, аж перднул. И тогда вместо крови стал выделять из себя вино, и брызгало оно из него, как из бочки, и черные аггелы бегали вокруг и собирали эти брызги... Вот. А какая по счету Антихристова чаша, неизвестно, только с человеком от нее чудеса происходят, кровопийцей становится и без живой человеческой крови жить не может...

Выпили.

Ровно три пузырька – разведенного, сдобренного травами спирта. Перед каждым пузырьком Павлуша шелестел губами, произнося что-то тихое и правильное. Закусывали нарезанным яблоком, чуть потемневшим за время Павлушиной речи.

От первого же глотка Николенька ожегся и внутриутробно просветлел. До того в его послужном реестре значились лишь вино да домашняя настойка; к пиву симпатии не имел, водка оставляла камень в затылке. В казарме пили кислое вино и плевались; жидкость, что гнали местные дилетанты, была еще хуже; пили, впрочем, и ее. Павлушин же спирт пошел в особинку: никаким хмельным дымом в мозг не стрельнуло, только лучи пошли. Чисто и прибрано стало на душе, словно проветрили ее из всех окон и прошлись по полу свежим еловым веником.

Два других пузырька прошмыгнули в Николеньку легкими трелями. Как в детстве, когда ставишь палец на фортепианную чешую и быстро ведешь его до верхних октав – др-р-рынь! И еще – др-р-рынь! Пока родители от инструмента не отгонят ласковыми угрозами.

И привиделось: среди глухого, в мушиных хорах, лета – вдруг снежное поле, завалившееся за красный горизонт солнце; движение обуви по гаснущим кристаллам, обмотанные ноги верблюдов, ослов; мысли о привале. И небо, и чернолесье, и беседа о чем-то святом и хозяйском. И обувь, оставляющая на снегу нездешний остроносый след, и костер тюльпаном в сумерках.

Потом они с Павлушей лежали, раскинув пьяные руки, на песке и разговаривали в темноту. Громоздились созвездья; Павлуша называл их имена, а Николенька говорил об архитектуре и чертил в небесной пустоте проэкт: город с желтым куполом, из жарких летних снов.

После пиров Николенька ходил печальный, злее к себе, ласковее к людям. По утрам приседал или же отжимался на похолодевшей за ночь земле, словно совершая сосредоточенное совокупление. Умывался ветром и песком, чесался гребнем, глотал настоящую на гривеннике воду. Учения иссякали; само начальство не желало лишний раз подставлять себя пеклу; дни были залиты свободой и ленью. Николенька слушал звуки ветра, иногда бегал помогать Павлуше в гошпиталь, один раз увидел там вернувшегося Казадупова, который посмотрел на него, но ничего не сказал.

Начались подступы осени. Окаатило степь дождем, солдатики высыпали и наблюдали, ловя губами дармовую воду. Небо треснуло; «Илья поехал», – сказал кто-то, крестясь; «Не Илья, а Аспар-волхв, государь степной, дары обронил». – «Какие дары?» Николенька, вымокший и довольный, вернулся в казарму – упасть на лежанку, завеситься мечтами: просторно мечтается под летний дождь.

Наконец осень подошла вплотную, до зябкости по утрам, до застрелявших отовсюду кузнечиков, очнувшихся к своей зеленой жизни после зноя. Беседы с Павлушей стали печальнее, напитаннее солнечными тишами, пустотами убывающего тепла.

Совершая немудреные променады, забредали друзья на кладбища. Русский погост ничем не отличался от тысяч своих тихих братьев, рассыпанных по России. Те же кресты, только поваленные бураном, а больше – зыбкостью самой здешней почвы, в которую были воткнуты словно обреченные на гибель сажены. На одном кресте была надпись «Триарский» – без подробностей и напутствий.

– Странно, – сказал Николенька, рассматривая свою фамилию.

Подул ветер; пошли дальше.

От мусульманских кладбищ впечатлений было больше, здесь были глиняные домики с куполами. Николенька с Павлушей бродили среди этого поселения, где кроме умерших обитали еще птицы, муравьи, а также кузнечики, сухими брызгами летевшие из-под ног.

«Так вот она какая бывает, смерть, – думал Николенька, вникая в солнечную архитектуру кладбища. – Как она не похожа на ту, в комьях снега и мерзлой грязи... На те карнавальные мешки, в которые нас обрядили; на мурашки барабанной дробы. Было тогда театрально и страшно. Солнце всходило, как закулисный фонарь в опере, и от этого солнца делалось еще страшней. Ergo, смерть страшна только как театр; вынь из нее театр, и останутся только эти теплые куски глины, в которых, как в ладанках, запечены мертвые... Помню, в детстве лепил с братцем Илюшей куличики и бонбонки из песка; вот что напоминает это кладбище: кулинарные изделия, вылепленные из песка и глины».

И вдруг волной накатывало: Питер, ненастья и пятницы у Петрашевского, и они, еще свободные, злые, взвихряют диспуты, гремят терминами. И сам Петрашевский лбом светится – где он теперь?

Николенька рассказывал сон.

Павлуша обволакивал все разумным молчанием.

– Сны, – говорил, – нужно ловить и держать в кулаке. В кулаке им самое подходящее жилище: тепло и человеком по-домашнему пахнет.

По степи проскакал всадник; друзья оглянулись...

На Новоюртинск ожидалась Комиссия. Со всех сторон слышались шепоты и предупредительные выстрелы. Комиссия! Комиссия! «Да-а...», – сказала начальство и захлопотало. Ломберные столы были задвинуты; у градоначальника Пукирева засел штаб. Комиссия двигалась со стороны Москвы, карая и низвергая; дыхание ее успел учуять в Оренбурге лакомившийся ушницей Казадупов; с застрявшею в горле ушницей понесся обратно в Новоюртинск... Доклад Казадупова был штабом заслушан и принят к сведению; курительные трубки беспокойно запыхали. Градоначальник Пукирев шагал по зале, вдоль пылящихся в ссылке столов.

Всадник был вестником Комиссии; на бледном коне ворвался он в город и был принят начальством. Вест о Комиссии стала наконец ясна и осязаема, как навозный шарик, сотворенный лошастью всадника пред крыльцом градоначальника. «Воды! Вина!» – воскликнул всадник – и был прекрасен. Он был частью Комиссии, ее оповестительным сигналом. Его баритон Комиссия возвещала о себе; он летел перед ней, запуская прикосновением перстов колеса неразберих, интриг и заседаний. Подскакав, приподнялся в стременах, давая возможность полюбоваться собой. И ввинтился во все заседания, то поясняя, то философски покуривая и поглядывая на покрытые саванами карточные столы. Чтобы переварить все эти новости, требовался организм с отличнейшим мозговым пищеварением; Саторнил Самсонович Пукирев пытался постичь и кончил головною болью и полотенцем на лбу.

Звали всадника Алексеем Карловичем Маринелли.

Не опознал Николенька во всаднике, пропылившем мимо киргизского кладбища, родственника, Вареньки законного блудного супруга. Исчезнувшего с год назад в Великом Новгороде и вынырнувшего на лошади из песков, зыбящих вокруг Новоюртинска.

– Подержите сон в кулаке или меж пальцев, скажете ему: «Сон, сон, с семи сторон, под землю беги, алтын береги» – и отпускаете.

Павлуша разжал пальцы.

Кузнечик упал. Друзья склонились над ним.

– Мертвый, – сказал Павлуша. – Нехорошо...

Новоюртинск – Лютинск, 22 сентября 1850 года

Царь! Твой благостью и силой
Знаменующийся лик
Для твоей России милой
Любо видеть каждый миг!

Твой портрэт-эт блесит по залам,
Соприсущий нам всегда!
Он ла-ла-лам... тра-ла-ла-лам...
В каждой... тра-та-та-та-та!

Алексис извлек диссонанс и швырнул гитару на постель. Инструмент обиженно мяукнул; Алексис поглядел на Николеньку:

– Ах, братец Nicolas, как я тебя люблю! Даже не поверишь.

Триарский продолжал чертить на бумаге: под грифелем вырисовывался дом...

– Один в тебе изъян, Nicolas: не любишь ты государя. Признайся, не любишь? То-то.

– Я ему служу. – Николенька продолжал густить рисунок. – Царю и Отечеству.

И карандашом: ширх-ширх... Изголодался по рисованию.

– Служу! – Алексис прогуливался по комнате. – Служить, брат Nicolas, сегодня мало. Это при Катьках да Сашках можно было – служить. «Слуга царю, отец солдатам», как говаривал мой покойный приятель Мишка Лермантов, порядочная каналья; теперь уже в могиле и в большой моде... Так о чем я?

– Не помню, – отозвался Николенька сквозь карандашные шорохи.

– Помнишь, помнишь! О любви к государю... Все в тебе, братец, социализм шипит, вроде такого умственного шампанского. Эх, думал, выдохся он из тебя уже весь, а ты вон, таишься. Что рисуешь? Фаланстер какой-нибудь? Ну не отвечай, не требую. А мог бы ответить. Я теперь такие полномочия имею... Ну что ты на меня смотришь?



Сентябрь закрутился пыткой. Начальство, опьянев от страха и ожидания, гоняло солдат и само носилось повсюду; всадник на бледном коне сопровождал его. Говорили, что Комиссия засела в Оренбурге, сдавив его проверками. Говорили, что Комиссия взяток не берет, но аллегорически на них намекает; что зарекомендовала себя Изидою под покрывалом: никто не знал, что же она проверяет. Одни говорили: нравственность; другие напирала на ее интерес к боеготовности войск на случай явления из японских земель нового Чингиз-хана, о котором уже писали в какой-то английской газете.

Все умозаключатели сходились в том, что Комиссия назначена с какой-то великой целью; что уважает малосольные огурцы и бывает на парадах.

Парады сделались чумою. Новоюртинские солдатики, до того без надобности не муштрованные, теперь коптились день и ночь на плацу, взбивая сапогами пуды пыли. Начальство срывало себе голос на «напра-а-аво!!!»; бултыхало членистоногими конечностями, как пойманный кузнечик, и отрыгивало испуганную бяку.

Лазури начала сентября выпцвели, снова навалился жар, распустились темные розы пота на мундирах. Николенька маршировал со всеми. Рядом тяжело дышал изгнанный Казадуповым за спирт Павлуша. Он кашлял, заваливался в бисерах пота; один раз лишился сознания. Николенька сам был на грани бессознания; снились качающиеся спины; спины поворачивались, двигались и замирали. Голов на них не росло, или росло, но как-то второстепенно.

И раз на плацу он снова увидел того всадника; приглядевшись, узнал. Тот, на лошади, тоже блеснул сахарным оскалом. Следствием этой улыбки стало освобождение Николеньки от фрунта и переезд, под выстрелы шампанского, на квартиру Алексея Карловича. От переезда Николенька долго отказывался – не хотел отделяться от казармы; но товарищи его сами, почуяв засветивший Николеньке фавор, прогудели: перебирайся; может, и за нас *там* замолвишь... Замолвить пока получилось только за Волохова: через пару дней Павлушку вернули в гошпиталь.

Началась совместная жизнь. Маринелли в домашнем обиходе держался цинической простоты, разгуливал адамом («Жара-а!») и поощрял к тому же Николеньку; Николенька мотал головой и кутался в халат. Пытался задать Алексису вопрос о Вареньке – тот отшучивался; потом взрывался слюнями: «Я за сыном ехал, сына хотел видеть я!» – выставлял на Николеньку мокрые глаза, выдавливая сочувствие. Ехал за сыном, а что дальше? Где сын, умыкнутый из-под рождественских гирлянд, сонный, испуганный?

Кого ты ждешь? По ком, тоскуя,
Заветных песен не поешь?
И ноет грудь без поцелуя,
И ты так горько слезы льешь?

Алексис рвал струны, возводил очи к покрытому мухами потолку. Курил кальян; из алого рта отплывали кольца; глаза, потусторонясь, созерцали Платоновы сущности. (Одна «сущность» приходила: выюркнула в комнатку накрашенной мышью; Николеньку взглядом попросили выйти на воздух. «А Варенька?» – думал он, щурясь от ветра.)

– Не любишь ты государя, братец...

От «братца» кожа на Николенькиной спине кипела холодными мурашами.

– Не любишь. А ведь это государь меня соизволением своим на эту должность приставил. Из глубин на свет вызволил.

Пальцы – с ухоженными коготками – замерли на струнах.

– Из таких глубин, из таких бездн... Ведь я сына своего в карты проиграл. Сына своего, Левушку!

...Рождественский вечер, купол Казанского; возок, уносящийся по пушистым улицам. Мужчина, пахнувший вином, и мальчик, испуганный, выкраденный из шуршащих рождественской дребеденью комнат. «Aimes-tu ton Papa?»⁵ – мужчина склоняется над ним щетиною щеки. «Oui, je t'aime... Mais où allons-nous?»⁶ И тень Лесного Царя – за возком...

⁵ Ты любишь своего Папу? (фр.)

⁶ Да, я люблю тебя... А куда мы едем? (фр.)

В этот же день, за много верст от Новоюртинска, в ничем не примечательном городке Лютинске произошло ничем не примечательное событие.

В особой комнатке при здешнем женском монастыре, в лучах теплого света, разрешилась от бремени одна из насельниц обители, сестра Варвара. Как была принята Варвара, несмотря на свою тягость, в обитель, было тайной; прихмуренные брови настоятельницы, матушки Домны, останавливали всякое любопытство и вопросы. Сестра Варвара жила в особой ото всех келье, молилась и клала поклоны, касаясь пола набухавшим чревом. Видели ее мало; видевшие – отметили особую, духовную улыбку и нежность движений.

В назначенный день, едва пропели на утрени «Отверзу уста моя...», качнулась таинственная сестра; вывели ее – в особую комнатку: тсс... Зашелестели над нею; приковыляла повитуха – из своих же. Среди стонов и болей заглянула матушка Домна, внеся нахмуренными бровями в комнату луч строгости; спросила о чем-то сестер, глянула в лицо роженицы; чуть дрогнула сухая ниточка настоятельницыных губ...

Младенец, крупный, басящий, лежал – в солнечном пятне – возле сестры Варвары. А она смотрела на него теплым своим лицом... И вдруг – с каким-то ужасом, как показалось приметившим это сестрам, – отвернула голову от младенца и затряслась бесшумным плачем.

А наверху, в игуменских покоях, матушка Домна, приняв доклад о благополучном рождении младенца мужеска пола, отпустила докладчиц и, шевеля губами, записала короткое, уже сложившееся в ее голове письмо, переписала набело и запечатала перстнем.

Затем младенца крестят – по святцам назовут Ионой, сиречь Голубем. Сестра Варвара слабо кивнет на это имя. Она будет лежать, остывая после родов, заваленная подушками, окруженная шепотами и недомолвками монахинь. Ее ни о чем не спрашивают, младенца пока держат при ней. «Иона, – шепчет сестра Варвара, поднося его к затамившейся груди, – Иона Романов...»

Санкт-Петербург, 3 октября 1850 года

– Иона Романов...

Повторил, привыкая. Прошелся, хмурый и счастливый, по залу.

Он редко заходил сюда.

После Отца зал не подновлялся, краски умерли, от стен несло плесенью.

А Отец любил этот зал. Придирчиво вглядывался в его проэкт. Пока шла отделка, являлся, перешагивая цаплей через мусор. Тенор его звенел под голыми сводами, рождая металлическое эхо. Нашумев, надышавшись известью и гипсом, успокаивался: любил запахи строительства, опьянялся ими. И уносился дальше, рассыпая милости и кары.

Мальтийский зал.

Заплесневелые эмблемы на стенах. Портреты магистров с мальтийскими крестами. Потемневшие виды Иерусалима, откуда Орден был изгнан турками и скитался по Европе, пока не нашел курьезное и временное прибежище в России. Откуда был выдворен при Александре Павловиче, сладчайшем братце.

Для чего Он стоит в этом зале, вдыхая плесень и разглядывая картины?

«Закладка первого монастыря Св. Иоанна и госпиталя в Иерусалиме для помощи паломникам ко Гробу Господню».

«Освобождение Иерусалима и провозглашение Иерусалимского королевства».

«Жерар Блаженный получает папскую буллу на учреждение Ордена госпитальеров».

«Провозглашение Раймона де Пюи первым магистром Ордена».

«Захват Турками Иерусалима и отплытие рыцарей на Кипр».

«Карл Пятый передает рыцарям право владения островом Мальтой».

Наконец аллегорическая картина, намекающая на захват Мальты Наполеоном и спасение Ордена Русским Императором.

Как-то они остались здесь вдвоем. Он и Отец; это случалось редко. Почти никогда, оба немного растерялись. Старейший ребенок и маленький, пятилетний, взрослый. Масляные лики рыцарей наблюдают со стен. И приходят на помощь Отцу, который безо всякой прелюдии начинает экзаменовать Его, дрожащего, подводя то к одной, то к другой картине. «А это кто? А здесь что изображено?» И сам себе отвечает, увлекаясь и объясняя все жарче. «Иерусалим! Вот на что теперь Мы в священном праве излагать претензию! Понимаете ли вы? Русский Император как верховный Магистр Ордена Святого Иоанна Иерусалимского! Имеет полное основание, что бы глупец француз ни говорил! Я произведу вас, сын мой, в рыцари Ордена, вы будете освобождать Иерусалим... Станете иерусалимским магистром, вас ждет великая судьба!»

И, раздув ноздри, вынеся из зала, оставив Его среди темных картин.

Этот разговор имел лишь одно следствие – Его, юного Великого Князя, наградили мальтийским орденом. Звездой Святого Иоанна Иерусалимского. Звезду мальчику показали и милостиво разрешили подержать. Белая звезда едва умещалась на вспотевшей ладошке, острые края волнующе покалывали. Впрочем, такую же звезду получили и старшие братья. Вообще на Петербург пролился целый ливень мальтийских звезд, все пытались пролезть в «рыцари»... А когда в опочивальню Императора ворвутся заговорщики, великие тени Ордена не смогут защитить своего бедного Магистра. Или не захотят, ведь и душегубцы почти все были из свежих рыцарей, осененных светом колючей мальтийской звезды. Он помнил восковое тело Императора, курносившееся из гроба. Мальтийская звезда, посветив бутафорским блеском над Россией, померкла; фантазии об Иерусалиме – забылись.

Он, однако, помнил.

Помнил и ждал случая.

Он прибудет в Иерусалим. Разумеется, не мальтийским рыцарем – оставим в стороне эту романтику, католицизм, эти плащи и береты и еловые костры до неба в Иоаннов день. Он прибудет туда православным монархом, упованием христианского Востока.

Замысел зрел у Него уже давно.

Он обсуждал его шесть лет назад, во время своего исторического визита в Англию. Потом заручился согласием «мальчика» Франца-Иосифа; после того как Он спас австрийскую корону от венгров, это было несложно. В мае Он затронул эту тему в разговоре со своим шурином, Фридрихом-Вильгельмом IV; шурин пришел в восторг; Он сам, расчувствовавшись, обронил слезу (Его всегда умиляли дураки).

Полвека прошло со времени Венского конгресса – последней встречи четырех держав Священного союза. Франция, лежавшая тогда во прахе, поднялась, приосанилась, завела локон и снова пустилась в международную политику. Да, Он был рад, когда карточный домик Луи-Филиппа разлетелся; Он обронил фразу – для истории, пока что – для газет: *La comédie jouée, le coquin à bas*⁷. Увы, следом началась новая комедия. Нация дамских угодников и салонных шалунов продолжала чувствовать себя империей. Нет, настало время собраться всем четверем суверенам Союза и указать Франции ее место, а заодно определить место Турции, этого гнилого яблока раздора.

Для этого Он и задумал новый Конгресс, который пройдет... Да-да, вы не ослышались, господа скептики: в Иерусалиме. Правители четырех империй Священного союза – России, Англии, Австрии и Пруссии – соберутся в канун Рождества на Святой земле, подобно евангельским царям-волхвам, пришедшим на поклонение Младенцу Христу. Что вы говорите, тех царей было трое, а не четверо? Трое будет и теперь; Англия не в счет, в Англии монархия уже давно стала карикатурой. Главное – усмирить Турцию, заставить ее признать особый статус Иерусалима как священного города под протекторатом России, защитницы изнывающих под османским игом христиан. Присутствие трех монархов – вот символ, от которого побегут по

⁷ Комедия сыграна, мошенник пал (*фр.*).

европейским спинам мурашки! Впервые после Карла Великого и Крестовых походов Святая земля содрогнется под копытами императоров, явившихся к вифлеемским яслям на защиту Гроба Господня. Но теперь среди них – Император Российский, *primus inter pares*, правитель одной шестой части суши...

Увы, Франция узнала о Его замысле; закипели интриги. Вначале Париж подговаривает францисканцев напасть на Рождественскую церковь в Вифлееме и похитить оттуда православный алтарь и Серебряную звезду. Французский посланник в Константинополе передает Великому визирю в виде подарка дубликат серебряной звезды и – ноту «от имени всего католического мира». Париж требует ни много ни мало – восстановить католическое духовенство в его привилегиях на святые места времен крестоносцев. К ноте приложен реестр «привилегий»: Рождественский собор в Вифлееме, пещера Рождества Христова – с правом восстановления на прежнем месте новой Звезды. Страна, затопившая Европу безбожием и куплетами, становится великой заступницей католиков. Сам Папа Пий, говорят, был обескуражен такой внезапной набожностью; Его Святейшество долго не мог уразуметь, о чем это ему в экзальтированных выражениях толкует этот плут де Лавалетт.

В мае Лавалетт уже рассекал воды Босфора на трехпалубном «Карле Великом» – еще один намек на крестовый поход. Конечно, в Стамбуле не могли понять столь тонкой аналогии, зато оценили вооружение и оснастку «Карла» – такие намеки Восток понимал хорошо. «Карл» прекрасно просматривался из серая; султан, вкушавший в золотой беседке свой утренний кофе, говорят, поперхнулся. Через пару часов Лавалетт уже требовал от Великой Порты ключи Вифлеемского храма. Грозил разрывом отношений: если Франция «проиграет это дело», она «может направить в Средиземное море мощную флотилию и блокирует Дарданеллы, дабы обеспечить удовлетворительное для Парижа решение».

Великая Порта задумалась.

Теперь ход в этой шахматной партии был за Ним. Англия выжидала; богословие в международных делах волновало ее лишь тогда, когда начинало сказываться на ставках Лондонской биржи. Австрия, хотя и присоединилась к французской ноте, от дальнейших движений воздерживалась, поглядывая на Петербург. Что ж, Он сделает ход. Он никогда не любил шахмат, но ставить шах Он умеет.

И одной из главных фигур в этой партии станет Его таинственный сын, Иона Романов. «И повеле Господь киту великому пожрети Иону; и бе Иона во чреве китове три дни и три нощи». И когда окрепнет Иона во чреве китове, извергнет его зверь морской, и явится Иона миру, и призовет его Государь, и посадит одесную себя. Или ошуюю – чтобы сразу не слишком возгордился. И да станет править Иона не пасмурным европейским умом, но светлым отеческим обычаем.

Государь еще раз прошелся по Мальтийскому залу, оглядев портреты темных звездных рыцарей. «Ничего, господа... В Иерусалим мы и без вашего Ордена доберемся!» И, довольный собой и своими мыслями, зашагал к выходу.

Новоюртинск, 10 октября 1850 года

И Комиссия прибыла.

Утро было, как назло, дождливым и нереспектабельным. Со свежескрашенных заборов и стен текла побелка; выстроенные для встречи солдатики намокли. Намокли представители сословий; намок каравай, несмотря на простертую над ним шинель; превратилась в кашицу соль в солонке. Саторнил Самсонович Пукирев сидел на намокшей лошади и наблюдал, как дождь уничтожает следы его титанических усилий. За спиной поблескивал мокрой медью оркестр.

Один Маринелли уже успел произвести пару экстренных жертвоприношений Бахусу и теперь хохотал и подбадривал публику. За ним – из сырой солдатской толпы – тревожно следил

взгляд Николеньки. Несколько дней назад Маринелли получил письмо – и тут же спалил его. Лежал целый день в китайском халате с драконами, выставив на Николеньку грязные пятки. Николенька пару раз глянул вопросительно, но, наткнувшись на пятки, опустил глаза. Под конец дня, устав от родственника, засобирался. «Куда ты?» – «Обратно в казарму». Маринелли рвал на себе халат, плевался, сводил гром с неба. Николенька молча складывал вещи. Еще одна сцена – уже без грома и слюны; Маринелли, сжав Николенькину руку, винулся; Николенька душил в себе брезгливость, порываясь стряхнуть с себя родственника и уйти.

Теперь он следил за Алексисом, шатавшимся в седле; что-то сгущалось, и даже ледяные отрыжки ветра не холодили, а только тоскливили.

– Едут! – заорали самые глазастые, углядев на краю земли копошение.

Перевалив через дымящийся от влаги горизонт, кавалькада приближалась.

Саторнил Самсоныч густо вспотел; махнул оркестру:

– Дуйте, братцы!

Братцы запасли в грудь воздуха – и дунули. Услышав произведенный звук, Маринелли заржал; Саторнил Самсоныч глянул на него тоскливо. Тут послышался еще один шум: желая продемонстрировать прирученность здешних туземцев, Пукирев велел нагнать музыкантов из киргизцев и татар. Теперь и они ударили в свои азиатские балалайки – заржали и вздыбились лошади, отродясь не слышавшие такого иерихонского концерта, – а Комиссия уже приближалась, по грязи раскатывалась ковровая дорожка.

Саторнил Самсонович, спешившись, подошел к краю малиновой дорожки, как к обрыву; хлеб-соль в руках тряслись.

Вот Комиссия поравнялась со встречавшими...

И пронеслась дальше, шумя, скрипя, словно никто ее не встречал, не раскатывал дорожку, не приветствовал духовыми инструментами. Только Маринелли ловко вписался в кавалькаду и унесся с ней в сторону городских ворот, жестикулируя.

Саторнил Самсонович застыл возле дорожки, отщипывая от бесполезного каравая кусочки, запуская в рот и пережевывая. Штатские и военные власти, депутаты от сословий, офицеры и солдаты – все замерли, вывихнув шеи в сторону умчавшихся. К ногам Саторнила Самсоновича подошла кошка и потерлась о сапог.

– Брысь! – заорал градоначальник, ничего не соображая.

Взяв город с первого приступа, Комиссия рассыпалась по учреждениям. С Пукиревым разговаривала лаконически, со льдинкой в голосе; воцарилась в его кабинете, переставила по своему чернильницу и пресс-папье и затребовала отчеты.

– Какие? – спросил Пукирев чужим и неприятным ему самому голосом, с тоской глядя на переставленный письменный прибор.

– Сами знаете!

– Не знаю – какие! Не знаю – какие! – кричал Саторнил Самсонович вечером в кругу домашних.

– Саторнил, это есть судьба, – скрипела из кресел супруга.

Ночью сделалось совсем худо. Слуга, высланный в дозор, доложил, что в окне у Комиссии свет. «Не спит, не спит – изучает, – шагал по комнатам Саторнил Самсонович. – А отчего не спит?» Проворочавшись полночи – сбежал, оставив супругу дохрапывать в одиночестве. Добрался до кабинета. Из-под двери выбивалась дымка света; Саторнил Самсонович отер лоб и постучал. Внутри буркнули; истолковав этот бурк в положительном смысле, Саторнил Самсонович просунул голову: «Я... доклады принес». Сощуренные от света глаза округлились: кабинет был пуст. Только возле самого стола сидел мальчик киргизец: трогал пальцем струны на киргизской домре, рядом валялся лук со стрелами. «Ты кто?» – спросила голова градоначальника (тело так и осталось – застывшим – за дверью). «Амур», – ответил мальчик, продол-

жая ковырять струны. «А-а...» – Саторнил Самсонович нырнул головою обратно. Добрался до постели: «Да, это судьба» – и рухнул в пуховики.

Посадили Ваню в стул,
Стали Ваню забирати,
То ись забривати.
На плечи кудри повалилися.
Из глаз слезы покатилися.
Ох ты, мати, моя мати!
Подойди, мати, поближе,
Собери-ко мои кудре...

Санкт-Петербург, 19 октября 1850 года

«Милый сынок Николай Петрович!

Пишет тебе твоя матушка, которая тебе жизнь и ласки давала и деток бы твоих еще мечтала потетешикать, да, видно, не судьба: имела точное сновидение, что закат планиды моей скор – и нужно отрицнуть суету и устремиться к духовному. Однако помышления о тебе, Николенька, и о сестрице твоей не отпускают меня от мирского; этими мыслями занята целые дни, они есть главные труды и упражнения моего сердца. Ты же пишешь редко, скрываешь, какие у тебя интересы, обзавелся ли покровителями, есть ли у тебя носовые платки, гребенки и другие предметы.

Твое прошлое письмо читали мы дважды; в первый раз утром, в присутствии Папеньки, братцев твоих Ильи Петровича и юного Василия Петровича, малолетней сестрицы Татьяны Петровны, а также Катерины Фадеевны. После утреннего чтения было устроено и вечернее, на котором присутствовали те же слушатели, кроме Папеньки, который выдумал себе боль в ногах, хотя даже младенцы знают, какая эта боль и в какой бутылочке она у него припрятана. Но спешу тебя обрадовать, что взамен пришли Петр Егорович с Прасковьей Стефановной, которых ты не знаешь, но которые порядочные и интересуются тобою, не то что наш Папенька с его ногами. Потому что Папенька твой, которого ты обязан почитать и уважать как священного Родителя, есть un égoïste; я, говорит, «уже слышал это письмо и не желаю себе такого повторного удовольствия», – это, Николенька, твое-то письмецо он называет удовольствием в дурном смысле! Не желаю говорить ничего осуждающего о нашем Папеньке, но без его присутствия вечернее чтение вышло даже лучше утреннего, а Петр Егорович отметил, что ты весьма развился в слоге, и Прасковья Стефановна была с этим тоже согласна. Жаль, что ты не знаешь, какие у Прасковьи Стефановны пеклись в прошлую среду вкусные ватрушки: они, вероятно, первые в Петербурге после Императорских. Но Папенька не желает общаться с такими людьми; что ж? мы не в обиде, бог с ним!

Но как подумая, что ты среди тамошних грубостей не имеешь подобных ватрушек и лишен общения с образованными людьми... Пишешь ты о каком-то Павле, но этот Павел мне подозрителен: лучше, Николенька, не искать дружбы таких людей! Они, может, красиво рассуждают о разных пустяках, но мы ученые и знаем эти рассуждения, они – только красные слова, ибо лишены сердца. И я бы хотела сама познакомиться

с этим Павлом, послушать его речи и испытать нравственность. Что касается упомянутого тобою фельдшера Казадунова, то, несмотря на неблагозвучность фамилии, от этого человека веет мудростью и умеренностью привычек; это добрый семьянин, за внешней холодностью его скрывается много чувств, подкрепленных опытностью жизни. Разумеется, Папенка твой при утреннем чтении счел по-другому и смеялся и отпускал афоризмы от одной фамилии господина Казадунова. Но Папенка, как я уже писала, манкировал вечерним чтением и даже не перечитывал твое письмо, хотя я его не прятала, а умышленно подкладывала в те места, где Папенка бывает.

Что касается прибытия в ваши земли аспиды Маринелли, то я даже имени его писать здесь не имею желания; это Зверь, выходящий из бездны ради погубления нашего семейства. Ты пишешь, что он запрыгнул в начальство; не забывай, что он – италианец; пусть говорят, что они большей частью дворовые музыканты, и мы их музыку уже знаем! Правда, теперь я на его италианство уже другими глазами смотрю, он сам – жертва своих южных страстей. Музыкаю он сестру твою Варвару Петровну пленил; а когда я к нему приехала – он и при мне на гитаре. Если уж я, мать честного семейства, к нему явилась, а он с гитарой, то представляю, какие у него понятия. Но если ты говоришь, что он теперь начальство и в больших связях, то нужно напомнить ему о родстве с нашей фамилией и о том, сколько мы оказали ему благодеяний, которых он был недостоин. Впрочем, про то, что недостоин, ты, Николенька, пока ему не говори, а только изобрази взглядом. А если, как ты пишешь, злодей к тебе проявляет симпатию, то не гнушайся пока этой проклятой симпатией, узнай, куда Ирод бросил племянника твоего Левушику, кровиночку, солнышко мое! Никогда не прошу ему этого, так и передай ему когда-нибудь, только не сейчас – сейчас пока не надо. И вообще передай, что зла на него много не имею, а ровно столько, сколько он, подлец, заслуживает, и молюсь за него и за всех италианцев, чтобы им, шарманичкам, всем хорошо было.

Теперь хочу приуготовить тебя к нынешним обстоятельствам Вареньки. Тебе не нужно втолковывать, как некоторым здешним скептикам, что я наделена каким-то шотландским вторым зрением и имела, по исчезновению Вареньки, ясный сон, являющий ее нынешнее положение. Сон этот пересказывать не буду, скажу только, что Варвара Петровна явилась в нем в виде полевой птицы. Так оно, Николенька, и было в яви! Я тебе уже писала, что в Новгороде поступки ее сделались странны и вызвали толки; начудачив, она исчезла, оставив свет в недоумении. Она не нашла мужа с сыном; что ж? зачем же от этого мутиться рассудком? Вот что должна была сделать: вернуться в родное гнездо, просить совета... Прости, слезы подбираются к глазам! Через три месяца ее обнаруживают больною в убогом месте, среди чужих людей. Какой-то трактирный человек проникся к ней жалостью и кормил, больную, из своих средств: дай ему Бог всех благ, если, конечно, за этой филантропией не скрывалось какого-то расчета. А потом гром с неба: на сносях она! Вот что натворила-то, птица полевая! И я хороша – не углядела, все верила ей, что по хлопотам она носится, а она вот о чем хлопотала! Ох, Николенька, перед глазами темно! Не могу даже буквы писать: уж такую монетою она за все мои ласки отплатила! Позор, полный

позор, как людям теперь, как теперь Прасковье Стефановне в глаза смотреть буду, как на улицу выйду, с пятном-то?

И ведь жалко ее; на днях была от нее вестница, немка одна, очень мой ежевичный пирог хвалила и говорит: объявился у Вареньки какой-то незримый покровитель, и Варенька помещена в тамошнюю обитель и ни в чем не нуждается, а денежки, которые я ей послала вместе с письмом, где свои взгляды ей высказала, она мне обратно отослала. А я держу эти деньги и не знаю, что этой немке сказать, а она мой пирог все похваливает. Вот, Николенька, такие у нас обстоятельства. И ты по неразумию нас в несчастье верг, и Варенька, любимица моя, кинжалом меня дорезала – такова расплата за мое материнство. Думаю, оттого это, что кормилицей вашей была одна чухонка, о ней потом слышала, что лекарка и ведьма; каюсь, не разглядела тогда в ней этих склонностей. Прости, что рассказываю тебе всю эту мелочь; перед глазами туман, Папенька – черствое изваяние, а Илюшенька вчера ноги промочил, не миновать простуды! А Анна Вильгельмовна все просит рецепт ежевичного пирога, не знаю: давать, не давать – еще как она мой рецепт перетолкует; ничего не знаю... Все темно в этом мире, Николенька; все в нем суeta и ветер, который дует непонятно откуда. Не выходит из головы Варенькин незримый покровитель; кто же это, какой человек? Не трактирный, наверно. Или здесь иносказание? Раньше-то я хорошо иносказания понимала, а теперь все время только плачу. Прощай, Николенька, не груби начальству, не забывай чесать кудри и чистить себя водою. Держись путеводной звезды господина Казадунова, а Маринелли передай мой поклон, скажи: помнит маменька гитарные ваши серенадки! И тебе, может, протекцию окажет, хотя какая от Иуды протекция – женеу сума свел, сына похитил: всё от него, Зверя и музыкантишки! Прощай, Николенька, пиши чаще, тут уже и Петр Егорович спрашивал, нет ли от тебя писем; а я уж за тебя молить буду, пока есть сил и дыхания; не забудь про кудри...»

Новоюртипск, 1 ноября 1850 года

– А на Кавказе холодно и нуль много, – говорил Павлушка. – Смерти много. У тамошних народов главный товар – смерть, им и торгуют. И горы у них. Нет у нас, русских, к горам привычки. У меня каждый день работа была – сказку рассказывать. Пять ночей возле Терека-реки стояли, пять ночей сказки складывал. Сказки были – про то, как одна баба ореха обьялась, а ночью к ней домовой на печь залез и стал с ней свадьбу играть. А тут мне один солдатенок говорит: а про трех волхвов знаешь? А я не знал такой сказки, но говорю: «Знаю!» И давай врать, да так ловко, сам себя заслушался... А потом братьев своих и встретил, со звездами. С собой их носят, кто в ладанке, кто за щекой.

Николенька кивнул, потянулся, отхлебнул воды.

Звякнул на дне кружки гривенник.

– А потом наши до самого Ерусалима ходили, до Вивлема-города, и звезду оттуда привезли, которую над самими яслями Спасителя взяли. Там, говорят, время немирное, пусть эта звезда пока в России полежит. А как там утихомирится, может, вернем, где взяли. Привезли, а что делать – не знают, звезда – не овчина. Хранить страшно – отнять могут, и вещь известная; из Ерусалима пишут, что там переполох и большая печаль; а как теперь звезду вернешь, Вивлем-то вон где! Ну и расплавили звезду на части, наделали из нее малых звезд. Где эти звезды соберутся вместе, там Христос и родится, там мы новое, русское Рождество и отпразднуем. А пока к тому готовимся...

Замолчал. Николенька поднял голову, потянулся, послушал ветер:

– Дождь, что ли?

– Не. Дух зимы ходит, траву щупает. Он слепой, сердцем ходит. Куда сердце поведет, туда и он. А осень, наоборот, глаза, только глаза у ней не для зрения, а для плача, сидит, плачет, справа от нее плакальщицы, а слева – смеяльщицы. Как сама заплачет, так плакальщицы и подхватят. А как перестанет, тут смеяльщицы начинают; только смех у них такой, что лучше уж плач – быстрый у них смех, как вороний: кар-кар. От такого смеха листья жухнут и на баб икота нападает – не прогонишь, хоть кулаком им по спине стучи!

Первые дни Комиссия что-то требовала; обедала вместе с мальчиком-киргизцем, усыновленным ею из филантропии. «Какое смышленное дитя!» – восклицал Пукирев. Мальчика звали Амуром, и он уже умел считать до сорока.

Потом проверка стала стихать, поглощаясь жизнью. Одни говорили, что Комиссией выявлены нарушения. Другие, напротив, что она обнаружила какие-то не вознагражденные подвиги и запросила из Петербурга телегу с орденами. Второй слух нравился Саторнилу Самсоновичу больше – хотя бы потому, что сам его и пустил. Только супруга беспокоила: вчера застал ее напевающей романс.

Мальчик Амур разбил любимую чернильницу в кабинете градоначальника. «На счастье, на счастье», – страдальчески улыбался Саторнил Самсонович.

Степь давила холодом, иногда набегал, с бабьим всхлипом, дождик. А Комиссия все не уезжала: зимовать, что ли, собралась? Вечера посвящались картам – играли в старый добрый вист, разбавляя его изредка новомодным преферансом.

«Сто девятнадцать! Сто десятьнадцать!» – звонко говорил Амурчик, качаясь на коленках у Саторнилы Самсоновича.

«Сто двадцать, а не сто десятьнадцать, душенька!..» – исправлял его градоначальник и молил покровителя своего, св. Саторнилу, мученика Карфагенского, о скорейшем избавлении от прожорливых и детолюбивых проверяльщиков.

– Величаем Те, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим еже во храм Господень вхождение Твое!

Николенька стоял в церкви. Введение во Храм. Стайка крещеных татар или башкирцев; подле них топтались их бабы в русских платках, повязанных так, словно хотели ими перевязать все лицо. Возле роскошно-пучеглазых икон эти лица казались еще скуластее, монголистее. Все молились. Тепло, по-татарски выговаривая тысячелетние слова. А Николенька – интерьер разглядывал. Церковь в византийском стиле: тетраконх, дыхание ученого греческого христианства, затоптанного османским копытом. Теперь это византийство уже не жгло ему глаз; хоть и смотрелось бутафорией среди киргизско-татарского царства, но – не жгло. Оглядев своды и просчитав в уме, обнаружил неточность строения; надо будет сказать. Обогнул прихожан, подошел к Николаю Чудотворцу, протянул к иконе уже потеплевшую от пальцев свечу. Полюбовался горением. И – к выходу. У выхода запнулся – что-то теплое коснулось плеча. Татары, выстроившись перед иконой Божьей Матери, касались ее – губами и наморщенным лбом.

– О, как я стражду! – орал Маринелли, несясь на лошади по степи.

С вампирской жадностью бросался он на жизнь. Еще в детстве, в темном их доме, выходявшем единственным окном на чародейскую Сухареву башню. Он был слаб и капризен и постоянно что-то воровал. Тень от башни наполняла комнату, пахло страхом и лампадным маслом. Его наказывали, его учили молиться по утрам по-русски и по-латински, по старому латинскому букварю, пахнувшему мышами. Он закрывал букварь и слушал, как отец, огромный, как Сухарева башня, ходит по коридору и выдумывает блюда на обед.

Так прошли детские годы и юность; наступила свобода, вместе с ней голод и долги. Он служил, имел нарядный почерк и воздушный переимчивый ум. Правда, и в почерке чувство-

валось некое вольномыслие, буквы торопились, не оказывая друг другу никакого почтения. Начальство почерком Алекса любовалось, но в целом не одобряло. Он же тяготился службой; любил прокуренные платя цыганок, газетные сплетни и голубые язычки пунша. Любил – второстепенной частью сердца – свою семью. Иногда замечал сына, Левушку: да, растет, растет... В семью являлся поскучать и помучиться: Варенька ходила за ним, переноса из комнаты в комнату упрек во взгляде. Он привык к этому упреку, вдвух в него струйку табачного дыма, как пчеловод, защищающийся от пчелиных укусов. Мед забирал – ночью. Мед страха, из широких Варенькиных глаз. Потом снова – к цыганам, подпевал баритоном, зарывался лицом в прокуренные, окропленные шампанским юбки.

Отъезд Вареньки в Питер оказался роковым – хотя он сам мечтал употребить отсутствие семьи «во всю клавиатуру». Первые дни так и было: и клавиатура, и глиссандо, и пляски с замиранием в метафизических позах. А потом – уже не помнил когда, дни склеились – начальство потребовало объяснений, и он оказался вышвырнут. Вареньки все не было, он отправил ей письмо, понял: не ответит. Дни катились к Рождеству, в голове была уже одна Варенька, он ходил по комнатам, пиная бутылки, катавшиеся по голым доскам, – ковры уже ушли за долги. Иногда пытался вспомнить Левушку – и не мог; память подсовывала выbledка, прижитого в юности от горничной Феклуши, нечистоплотной и ласковой, или портрет Наполеона в детстве, еще какие-то мордочки. По ночам снова – глиссандо и юбки. Под Рождество квартира стала пустой, как стакан: все выплеснулось из нее – за долги или друзья прихватили; под окнами по снежку прогуливались кредиторы. Пробовал отыгаться – alas! – пришлось отвинтить с пальца фамильный перстень. Утром просыпался, лил на лицо остатки шампанского; пытался вспомнить Левушку. Совесть хлестала его крепкими ладонями; от ее ударов было больно и сладко.

Решил бежать в Питер к семейному очагу, отогреться. Бежал ночью; всюду мерещились горящие глаза кредиторов. По дороге укреплялся вином; в Питер въезжал уже полным Бахусом, звонили к всенощной, он покусывал заледеневший ус: «Для любви одной природа...» Нет, он все еще собирался предстать пред своим семейством и даже прикупил в дороге леденцов для Левушки, а для Вареньки поберег поцелуй, который, он знал, ей нравился: чуть ниже ее ушка, глубокий и вдумчивый. Но перед домом Триярских случилась заминка: заметил тещу, Варенькину матушку, отправляющуюся куда-то со свитой. Стал ждать, когда уедет, – вступать с ней в беседу не имел сил. Теща уехала, легче не стало. Требовалось выйти из повозки, стучать, врать про Новгород. Выйдет Варенька, он, конечно, снова будет оправдываться и даже поцелуй чуть ниже ушка не спасет, да и допустит ли она его до этого ушка? Нет, плеснет холодом и зашуршит юбками прочь – а он останется как дурак с заготовленным поцелуем.

Вот только Левушка... Для него точно не понадобится врать – сыновьям достаточно просто услышать голос отца, взгляд, запах отца, и все понимают: он помнил это по своему детству... Заберет Левушку, отвезет его в какое-нибудь веселое место, а утром они явятся обратно, Левушка уже будет его адвокатом, и Варенька по утрам добрее.

Он позвонил, прислуга его впустила, сообщила, что Варенька в жару, а Петр Фомич почивают. «Прикажете доложить?» – «Нет... А где мой сын?» Левушка сопел в комнате, недалеко от елки. Проходя мимо нее, Маринелли замер: детство, тепло, ожидание подарка (всегда дарили «не то») – все это окутало его на мгновение. Потом сверху глухо стукнуло – Маринелли стряхнул елочные чары и бросился к Левушке. Целовал его, мягкого, слюнявого ото сна, – узнавая.

Потом они мчались по улицам, Левушка был счастлив, но мерз, Алексей Карлович отогревал его остатками рома, и Левушка говорил, что ром «куксается». Это Маринелли помнил, потом стал помнить хуже, обрывками. Помнил, что кружили по городу, и он все обещал Левушке «веселое место», совершенно не представляя, в какое веселое место можно отвезти его ночью, да еще под Рождество. Завернул к двум прежним своим приятелям, одного не оказалось, а второй вышел халдейски пьян и обложил такими куплетами, что Маринелли быстро отъехал, все глядя Левушку по испуганному мокрому лицу. Левушка мерз, хныкал и просился

домой, Маринелли кутал его в свою шубу и шептал обещания, тычась то в один, то в другой переулочек уже безо всякой цели. «Aimes-Ш ton Papa? – целовал Маринелли холодное ухо Левушки, глядевшее из-под шубы. – Мы скоро приедем... Там будет весело». Когда уже собирался возвращаться обратно в дом, откуда так бесталанно похитил сына, всплыл вдруг в голове какой-то адрес – и повозка понеслась туда, под Левушкин всхлип.

Это было место, где Маринелли когда-то встречал Рождество или так ему показалось. Где-то за Обводным, где кончается всякое регулярное бытие; глухой, пахнувший какой-то выплеснутой дрянью переулочек. В соседних строениях не было жизни, либо ее крепко прятали под корою стен; первобытный снег лег под подошву; ни фонаря, одно фосфорное небо над головой. Маринелли долго стучал, стук падал в тишину без отклика; даже собаки не подавали своих обычных реплик. Наконец дверь ожила. Вышмыгнуло в проем лицо и сделало знак следовать внутрь. Маринелли вошел, бормоча какой-то бред о замерзающем ребенке (Левушку нес на руках), называл фантастические имена, которые должны были селиться в этом доме. Их долго вели коридором, Левушка висел на Маринелли, обхватив его шею ледяными ладонями. Завели в горячую комнату, где была музыка и столы. Лица вертелись больше мещанские, но Маринелли, окунутый в тепло, сделался демократом и радовался всему. Левушку от него аккуратно забрали: «согреть, согреть...». Он не возражал; напозло облако похмелья. Слышал женский голос: «Прибыло дитё, дождались светлое!» – и Маринелли тоже обрадовался: «Вот они как Левушке рады»; размякли мысли; даже представилось, что «дите» это он сам, Маринелли, согретый.

Спал он, казалось, немного. Открыл глаза, узрел над собою ослиную морду; морда висела, шевеля пушистыми губами. Маринелли мерз – лежал на полу, в голове гудел оркестр, в ухе засели остатки скрипичного звона. Маринелли потрогал себя, подвигал зрачками; он лежал в пустой комнате на шубе. «Чер-рт! Где это я?» Дернулся, встал на чужие, не желавшие признавать его, ноги. «Эй, есть кто здесь?» Голос разлетелся по пустоте. Шагнул в одну дверь, новая комната встретила его новою пустотой. «Левушка!» Побродил по комнатам, постоял у вечеряющего окна. «Сколько я спал? Который теперь час?... Левушка!» Выбрался на улицу; повозки не было, не было вообще ничего. Переулочек был глух; на свежем снегу синели следы копыт, больших и малых. «Какой же я подлец! Какой же я подонок, подонок, подонок!» – твердил он, глядя на следы, строчившие по снегу. Практический смысл требовал опохмелиться; обнаружив, что деньги остались при нем, он отправился в поисках подходящего заведения. Заведение вскорости нашлось, потом еще одно...

Так Алексей Карлович оказался в полицейском участке, где и началась его реинкарнация, доклады о нем в какие-то высшие сферы, чуть ли не к самому Государю, и неожиданное его назначение в Комиссию в дрянной городишко Новоюртинск.

Новоюртинск, 20 ноября 1850 года

С утра ходили по казармам: проверяли состояние волос. Впереди Комиссия с линейками и ножницами; следом остальное начальство. Солдаты, вялые, зимние, хмуро предоставляли головы под обмер. До начала была беседа о головах, о длине волос – одного и трех четвертей дюйма по бокам, согласно Высочайшему Указу. Солдаты молчали, придерживая скулами зевоту.

Начался обмер. В солдатскую голову втыкалась линейка, обмерщик выкрикивал длину. Если соответствовала, солдата отпускали и вызывали следующую голову. Нарушителей гнали в угол – тосковать; кто-то шепотком молился.

– Ну не верти головой... В каком году последний раз гребень видал? Что молчишь, оглох? Государь ночей не спит, бумагу пишет, а ты волосьями трясешь. Держи, говорю, ровно, линейкой в глаз заеду... Неужто порядок в волосах держать тяжело? Смочил водой, сделал вот так

и так – и ходи себе! Ну, сколько у него там? Сколько? А с боков мерили? Иди, что стоишь?.. Твое счастье, чуток больше – был бы среди них...

Толпа нарушителей разбухала; к обеду в ней стало тесно; тот, кто прежде молился, теперь сидел, обхватив голову и временами со взвизгом выдирая из нее клоки.

– В каком году последний раз волосы чесал? А водою пользуешься?

– Пользуюсь.

– Ишь, еще дерзит! Вставь-ка ему линейку глубже... Что дергаешься – больно, что ли? А думаешь, государю не больно видеть, какие у тебя дебри?

– Бирнамский лес! – вывинтился вдруг Казадупов.

– Какой еще лес?

– Это из Шекспира, из Шекспира...

Нового нарушителя толкали в угол, к виновникам. Лязгали ставни; теплился запах страха и горького ожидания.

К обеду поток злоумышленников иссяк.

Комиссия уже складывала линейки, но тут приволокли еще одного.

Даже без измерений было ясно, что волос его не соответствует никаким категориям.

– Павлушка Волохов!

Загорелись десятки глаз. Зашевелилось в углу, где перезёвывали свое горе нарушители. – как шевелится, слюноточа, ад, распахиваясь перед новым грешником.

– В каком году последний раз волосы чесал?

Павлушу потянули в угол, к остальным. Николенька попытался выступить; его затерли. Чья-то ладонь похлопала Николеньку по плечу. Он повернулся, ладонь растаяла; моргнул рядом глаз Казадупова.

– Из Шекспира!

Адская пасть, зевнув, стала медленно закрываться.

«Учение Волхвов, или Рождественников, таково. Святое Евангелие и Книги Нового Завета толкуют иносказательно, то есть ложно. По словам их, все, что написано о Господе нашем Иисусе Христе, Его Богоявлении и Страстях, хоть и истинно, но пока-де не произошло и дано лишь как пророчество. Как говорят некоторые из них, “а Руси, мол, Христос еще не явил чудес своих и не был распят. Ибо если бы был Он распят, то не творилось бы столько греха и неправоты. Произошло пока лишь Его Рождество”».

Казадупов водил пером. Что-то выпытал, сведение за сведением, из дурачка Павлушки; что-то – выдумал.

«Не выдумал, а мысленным взором узрел!»

Тайные общества, логи и прочие забавы заскучавших от безвременья мужчин... Массонские рукопожатия с прикосновением указательного пальца к пульсу... Интерес к играм народной фантазии... Первые любители русской экзотики двинулись в народ, зажав ноздри и прихватив с собой в виде разговорника собрание песен Кирилы Данилова. При первом близком ознакомлении народ оказался грязноватым и поющим печальные песни. Большею частью про деревья: одно дерево любило другое дерево, но не пользовалось взаимностью; песни не про деревья были нецензурного содержания, но пелись тоже печально. Кроме песен, изучатели народа стали наблюдать народные суеверия и беседовать с колдунами. Колдуны помещивали отвар из мухоморов и давали уклончивые ответы. Подустав от мухоморов, лягушачьих лапок и прочих продуктов мифологии, изучатели добрались наконец до русских сект и расколов. Но секты упорно не допускали непрошенных гостей внутрь своего темного организма. Не помогал ни Кирилла Данилов, ни выученные при общении с колдунами народные выражения. На изучателей секты глядели исподлобья и отваживали сухим разговором. Священные книги свои предъявлять не спешили и вообще никак не хотели служить науке и изучению самих себя.

Иногда, впрочем, какую-нибудь словоохотливую душу прорывало; но тут уж сообщались такие сказки, что изучатели вначале выпучивали глаза, а потом начинали их скептически щурить. «Везде наши братья, по всей земле, – божился словоохотник, – и среди писарей, и даже среди министров! И сам Государь – они тоже нашего согласия... Не веришь, что ли?» Некоторые из изучателей верили. Не про Государя, конечно, и министров, а про невидимые, оплетшие всю Россию шупальца. Это уже не сушеные лягушачьи лапки, это – политика!

Дописав, Казадупов взлетел перышком и закружился по комнате. «Танцевальщик танцевал...» – напевал Казадупов, делая пируэты и сбивая пузырьки с лекарствами.



Треснул левый свод церкви.

На старосту Вакха просыпалась пыль.

– Ну вот, гляди, гляди, – говорил Вакх, вода вечером Николеньку под треснувшим местом.

Маринелли дожидался Николеньку на улице; в церковь не входил – из-за приступов атеизма, которым страдал с детства. Стоял, пускал пар, считал ветви на деревце у ограды.

Николенька разглядывал подделки под Византию, под теплый средиземноморский цвет, пересаженный сюда шучьим велением. Храм Святой Софии, Премудрости Божией. «Премудрость возглашает на улице и на площадях вопиет». Вопиет теперь посреди киргизской степи. С треснувшим сводом. Утонченный Восток посреди Востока полынного, кочевого, с запахом конского пота.

Вспомнил, как читали на пятницах Виссариона Белинского: «Утверждают, что Европа чахнет и что мы должны бежать от Европы чуть ли не в степи киргизские...»

Рядом, около свечей, оглаживал калмыцкую бородку Вакх.

– Вечер уже, не видно ее, трещину. Придешь завтра ее смотреть?

– Приду, – кивнул Николенька. – А кто церковь расписывал?

Небо со звездой. Пещера с людьми и животными. Старик спит. Женщина показывает гостям дитя. Трое гостей, лиц не видно, осыпались.

Ветвится трещина.

– Инвалид один. Его двое туда втаскивали, наверх, и держали за ноги, пока он там мазал. Он ангелов хорошо писал, похоже. А святые у него все на одного нашего капитана похоже. Он тогда по дочери того капитана сох, вот, видно, хотел будущему тестю угодить. Ему и отец Геннадий говорит, нехорошо, что такое сходство; святые-то все-таки не капитаны! А тот знай себе кисточкой: у святых, говорит, бороды; а капитан каждое утро бреется, вот так!.. А что, правда, Павла за волосы высекут?

Санкт-Петербург, 14 декабря 1850 года

Государь знал толк в почерках. Ценил красоту буквы. Не одобрял сильного наклона: наклонные буквы казались ему спешащими куда-то, а букве спешить не положено. «Европейская мода, – думал Государь. – Все у них, европейцев, спешит». Делал логический вывод: «От наклона букв – наклон в мыслях».

Доносы читать пока не стал, оставил на сладкое. Подписал несколько мелких бумаг.

Высочайше утвержденное положение о Дагестанском конно-иррегулярном полку. «Государь Император, в 14 день сего Декабря, утвердив сие Положение, Высочайше повелеть соизволил...»

Буквы скакали вбок, как сам Дагестанский конно-иррегулярный полк. Впрочем, какой еще регулярности ждать от Дагестанцев? «В полдневный жар в долине Дагестана...» Слишком много гор. Где горы – там кончается регулярность.

«Муллы и Лекарь из туземцев определяются из лиц аварского племени, известных усердием и преданностью Правительству».

Муллы и Лекарь... Всего один лекарь. Не хворают они, что ли? А мулл – мулл, наверное, много. Для чего же их много? Толкуют Ал-Коран, улучшают по-своему дикие нравы горцев. Вот именно: *по-своему*. Что они там шепчут горцам, каких райских гурий за каждого подстреленного русского сулят? Неизвестно. Еще повадились иностранные муллы из разной Турции-Персии наезжать. Он распорядился «совершенно запретить въезд в пределы Наши всяким лицам духовного магометанского звания, кто бы ни были». Своих мусульман хватает.

А все – арабский шрифт. Вроде буквы прописаны прямо, без наклона. Только уж слишком похожи друг на друга. И еще – Он читал где-то или слышал, каждая буква пишется у них по-разному, в зависимости от того, где стоит: в начале слова, посреди или в конце.

Вот это и есть – восточное двуличие.

Государь интересовался Востоком.

Да, Он устал от Европы. Европа сама устала от себя. Где прежние успехи ума? Что нового она может предложить, кроме моды на накладные локоны, романов Гюго и революций? Да и революции для Европы не новы. Кто это пошутил, что первым европейским революционером был Аттила? Самым искренним революционером. Желал разрушать – и разрушал. Нынешние лукавят: все разрушим, чтобы построить. Что построить? Фаланстеры, то есть публичные дома. Оттого и потянуло Европу к революциям, что ничего подлинно нового уже породить не может.

Нет, с Европой хватит. И романы Гюго – холодны и безнравственны. Эсмеральда – падшее создание, дикарка.

Что остается в итоге? Накладные локоны.

Одни накладные локоны.

Кто это написал в начале Его Царствования: «Закончился европейский период истории России, начался национальный»? Неважно, кто написал. Возможно, Он сам и написал, у него бывают мысли. Написал – и захлопнул европейский период, как французский роман, холодный и безнравственный.

Пусть Эсмеральда еще пляшет под химерами Нотр-Дама, колотя в свой бубен. Напрасно стараетесь, сударыня! Гибнет ваша Европа; окончен ее период. Начался – национальный. Соединяющий народность и комфорт, как постройки академика Тона. И народность и питательность, как русские наваристые щи.

Впрочем, щей Он не любил.

Слегка раздумываясь от дискуссии с самим собою и подписав-таки Положение о Дагестанском конно-иррегулярном полку, Государь обратился к доносам.

В донесении сообщалось о новой секте.

Государь интересовался сектами.

Словно натуралист, интересующийся мертвой лягушкой. Только вот *эта* лягушка была жива и помаргивала с болот красноватым фанатичным глазком. Хуже всего, что в этих рептилиях язычества, в этих сектах, тоже было что-то от «народности». От темной ее стороны, шевелившейся склизким, болотным телом под позолотою куполов и янтарным жирком щей. Плюх – и выпрыгнет оттуда.

Новая секта объявилась на Кавказе. Называют себя Рождественниками, или Рождественцами, в своем кругу – Волхвами.

Волхвы?

«Волхвы не боятся могучих владык, и княжеский дар им не нужен». Часто что-то Он стал Пушкина вспоминать: неужто неупокоенная душа поэта рядом бродит, вирши нашептывает? Надо сказать, пусть окропят кабинет святою водой... чтобы никаких Пушкиных здесь!

...А себя именуют они Волхвами, или потомками тех Волхвов, восточных царей, которые поклонились Младенцу Христу. Оттого из всех церковных празднеств почитают они особо Рождество; в этот день имеют тайную встречу, где молятся отцам своим, Волхвам, и Звезде. И перед изображением Младенца тайно ставят мирру и ладан и кладут позолоченные или даже золотые предметы. А иногда вместо изображения сажают пред собою живое дитя и кладут пред ним те же предметы. И носят дитя по комнатам, и поют песни. А остальные церковные праздники чтят меньше, потому что-де эти праздники есть только как символы для подготовки духа к истинным праздникам и к тому, что ждет Христа и Россию в будущем.

В спине, у поясницы, заныло. Сел в кресло, откинул голову. Потянулся за подушечкой – подарок любящих дочерей – под поясницу.

Эта боль посещала его и раньше. Докторам не жаловался. Загонят в постель; набегут домочадцы; Наследник с кислым лицом...

Нет. Не от того господи медики лечить Его будут.

Его диагнозом была – Россия. Это только казалось, что она, Россия, *под* Ним. Она была *над* Ним, *на* Нем, всею своею толщей. На Его стареющих плечах.

Это она, Россия, свинцовыми днями давила на позвоночник, отзываясь в пояснице.

Первый раз боли начались, когда Он казнил этих мерзавцев с Сенатской. Он лично вел следствие, лично обдумывал детали казни – хотел, чтобы казнь была возвышенной, идеальной казнью, удовлетворила взыскательному вкусу не только казнящих, но и казимых. Даже накануне, вечером 12 июля, Он бродил по комнатам Царскосельского дворца, изобретая подробности. Ночью Его осенило: барабанный бой! Пусть все время будет барабанный бой, который употребляется при наказании солдат сквозь строй. Тра-та-та... Мелкая дробь, как шорох снежной крупы – летом – воспоминание об *их* декабре. Шлет высочайшее повеление: нагнать барабанщиков, пусть постучат. Перед сном – сна так и не было – пишет Матери. Первая строка уже готова – Ему ее нашептал тот же Гений, что подсказал про мелкую дробь (тра-та-та-та): «Не поддается перу, что во мне происходит...» Здесь Он запнется – первое легкое поламывание в спине... Может, оборвать себя на этой строке, раз бессильно перо? Нет, ему хотелось передать письмом волнение, а волнение – словоохотливо. Перо выводит: «Голова моя положительно идет кругом... Завтра в три часа утра это дело должно свершиться».

В четыре утра бессонница согнала Его с постели. Бессонница и боль в спине. «Фидель, ко мне». Собака заворчала, потягиваясь, царапая когтями по паркету. Он переодевается и шагает сквозь анфиладу; собака догоняет его. «Спина, опять спина...» Чтобы отвлечься, идет к пруду; зачем – к пруду? Продумывая казнь, Он как-то упустил самого себя, упустил план своих действий на это утро – то, чем войдет в историю. Упустил бессонницу, занывшую спину, собаку, которая прыгает рядом в курящейся туманом траве. Он идет к пруду, что за Кагульским памятником. Сверху давит Ему на плечи, пригибая к дымящейся траве. Только не уступать боли... Он должен что-то делать. И Он – делает. Дрожащей ладонью роется в кармане. Достает платок. Хорошо, пусть будет платок; платок тоже имеет право войти в историю. «Фидель, взять!» Платок летит в запотевшее зеркало пруда. Следом – взрывая собою зеркало – летит счастливый Фидель. Мокрый платок в зубах собаки. «Спина...» Теперь еще раз. «Фидель...» И еще раз... Господи, по времени уже должно бы! Почему не едут, почему не сообщают?! Он кидает платок – холодный, весь в собачьей слюне – в двадцатый раз.

Наконец подбегает слуга: «Совершено». Или нет, он прошептал на ухо – зачем на ухо, если рядом никого не было? «Свершилось». Впрочем, это неважно. Слуга в этой истории неважен. Он сам знает, что свершилось, и летит во дворец. Фидель выплывает с платком на берег, но не находит Его. Бросает платок, бежит следом.

«Барабанщики били?» – морщится Он от боли. Слуга кивает. Что-то недоговаривает.

Позже выяснится – что.

Да, барабанщики били. И каждые полчаса посылались в Царское курьеры – за помилованием. Это тоже Он придумал, пусть они надеются, сцена получится сильнее. Курьеры летели обратно пустыми. А потом действие расстроилось. Веревки. Веревки оказались гнилы. Трое несчастных заживо падают с виселицы в ров, ломают себе кости.

Он не желал этого. Он не хотел такого для своего спектакля. Веревки! Реквизиторский цех подвел. Зрелища не получилось. Даже плохонького балагана. Даже театра марионеток. Марионетки сорвались с веревочек. «Фидель, ко мне!» Теплое преданное дыхание в ляжку.

Марионетки падают. Рылеев, окровавленный, выползает из рва. Граф Толстой – они ползут по рву – кричит: «Да вешайте же их скорее снова!» Били ли барабанщики? Били? Все ищут свежую веревку. «Дай же палачу свои аксельбанты, пусть нас хоть на них повесят!» (Рылеев – бледному Толстому). Какая реплика, однако...

Все ищут веревку. Запасной нет. Посылают в лавки. Лавки закрыты – ранний час. Сонные немецкие лавочники не понимают, зачем к ним стучат так рано. «Ферёффка? Ферёффка?!» Марионетки истекают кровью.

А Он идет по траве парка, и Россия давит на него всю воздушную тушей.

Он кидает платок в пруд. Фидель, отфыркиваясь, плывет за платком.

Наконец все марионетки повисают на своих веревках. На немецких веревках из полусонных немецких лавочек. Начальство отъезжает.

И тут случается самое неприятное. С одного из повешенных падает исподнее – и становится обозрим огромный восставший член.

Молоденькому барабанщику становится дурно.

Дурак, объясняют ему, это у повешенных всегда так: встает. Понял? Матушка-природа так устроила, чтобы у повешенного он вставал.

Барабанщику дурно, барабан валяется рядом.

У кого-то еще из висящих падают портки – или им помогают упасть? – то же самое зрелище. Подъятая палица. Ствол царь-пушки.

Он узнал об этом случайно, хотя и требовал всех деталей. Но эти детали от Него укрыли – фиговым листком молчания. Потом все же кто-то проболтался; плохо держатся в России фиговые листки. Он побледнел. Пять восставших членов, глумливо торчащих в Его сторону.

С тех пор Он разлюбил казнь через повешение.

Казненных похоронили на Голодае. Фидель, чудесный пес, вскоре тоже окошел. Государь велел похоронить верного друга у того самого пруда, подле Кагульского памятника. Государь любил собак.

А боль в спине стала навещать Его, то реже, то чаще.

Теперь, читая о новой неслыханной секте, Он снова испытал ее. «И влияние этой секты все возрастает, так что даже докатилось до киргизской степи».

Главным сообщителем этих сведений значился безвестный фельдшер форта Новоюртинска Афанасий Казадупов.

«И оттого, что внешнего поведения Волхвы, или Рождественцы, – как и прочие христиане, то уличить их в ересях труд не малый, и они, тем пользуясь, распространились с Кавказа, и уже в других частях России, особо в южных и восточных ее пространствах, оступились в тот же блуд. Сообщают, что примкнули к ним уже многие из других сект: раскольники, хлысты, скопцы, незванцы, дыромоляи, юрьевденцы, бегунцы, братчики, синеозерцы, четверговцы, сухоеды, мокроеды, антоновцы, петровцы, усть-галилеяне, курьяслепота, безризники, енохиане...»

Он опустился на козетку, поймал бисерную подушечку, подоткнул под спину.

Холод сжал Его. Холод страны, где Ему не согреться.

Он видит себя скачущим по ее ледяным просторам. В руке Его свет. Люди попадаютсся Ему. Один, два, три, много. В тряпье, в обновке; с красноватым глазком. Он проносится мимо;

свет в деснице Его: он ищет Народ. «Мы – народ!» «Я – народ!» Он не слышит эти возгласы, тающие позади. Он летит, разбрызгивая копытами человеческую глину, гиль, залепленные снегом рты; фонарь в руке Его. Пронесется и гинут за спиною, в болотных испарениях, секты и расколы – «Мы, мы – народ!» – прочавкивают под копытами иноверцы-инородцы; конь переносит его над этими сгустками; фонарь расталкивает мрак. Толпы густеют, ноги лошади вязнут в них; «Я... и я... и мы – Народ! Народ! На...» – «Нет», – знает Он, направляя на них луч – толпа на свету разваливается в отдельные комья ледяной слизи, в индивиды, в *человеки*... Но он не ищет человека – он ищет Народ... И вот впереди распласталось утро, и всадник наконец видит Его: огромный, светящийся, Народ стоит перед ним, шевелясь. Посмеивается, прикрывая дымящееся ротовое отверстие мохнатым щупальцем. «Нет! – шепчет всадник, роняя фонарь, падая с пригнувшейся лошади. – Нет!...»

– Нет... – хрипит Государь, схватись за спинку козетки.

Бисерная подушечка, подарок любящих дочерей, падает на пол.

Арапчата звенят «Турецкий марш».

«Си, ля, соль-диез, ля, до!»

Кланяются арапчата.

«Нет...»

Государь любит свой Народ. И пока Он жив – си, ля, соль-диез, ля, до! – Народ будет благоденствовать; Его народу не будет угрожать отмена крепостного права – единственного права в этой стране (все остальные права – вымышленные, намалеванные, как театральные задники, заезжим декоратором-французом).

Поднявшись и держась за поясицу, Он подошел к часам, нажал на нужный завиток. Си, ля, соль-диез... Перезвоны запнулись. Застыли арапчата. Выдвинулся секретный ящичек.

Он извлек из него шкатулку.

«Я царствую... но кто вослед за мной примет власть над нею? Мой наследник! Безумец, расточитель молодой... Едва умру, он, он!»

Опять Пушкин. Невозможно думать, дышать: везде Пушкин. И все верно, все точно. Безумец, расточитель молодой, сынок Александр Николаевич спит и видит, как освободить крестьян. «Доказывать не стану я, хоть знаю». Да, Он знает. Он знает, что Наследник это сделает, и это будет конец. Медленная агония, а потом... Потом все рухнет.

Раскрыл шкатулку, извлек небольшой эмалевый медальон.

Женское лицо. Бледность, улыбка, глаза.

«Barbe...» – провел указательным пальцем по поверхности.

Кроме портрета, в шкатулке было ее первое письмо.

С просьбой о помиловании брата. С чего все и началось. Он помиловал ее брата. Он помиловал всех этих негодяев.

Только ради нее.

И еще одно письмо. О рождении в 22 день сего сентября у дворянской девицы Варвары Маринелли сына Ионы.

Девицей, разумеется, она не была, имелся муж, но с мужем улажено. Поднят из пыли, обласкан и отправлен подальше, в степь, к киргизцам.

Иона.

Теплое, избяное имя.

Не совсем романовское, конечно. Романовы любили: Александров, Николаев, Константинов, Павлов. Греческие и римские имена, гармонизировавшие с питерскими колоннадами и порталами. Он положил конец порталам. Национальный период, господ. Маковки, тройки с бубенцами, песни о деревьях и их платонической любви.

И – Иона.

И Он – как когда-то его венценосная бабка, просвещенная и суеверная, – тайно приказал составить гороскоп младенца. Прочитав, остался доволен. Созвездия не поскупились на дары: нанесли младенцу «под зубок» сияющих своих кренделей и баранок. Обещал путь к самым вершинам славы.

Хватило бы Ему на это сил и времени.

Ради того, чтобы не допустить революции в стране, Он готов пойти на революцию в династическом порядке.

Он где-то слышал, что изначально «революция» означала вовсе не бунт, а просто круговращение планет. Плавное движение по кругу. Что ж, Он готов стать таким революционером, вернуть Россию на круги своя.

Но прежде Он совершит революцию в международных делах.

Новый, Иерусалимский, Конгресс.

Три монарха в канун Рождества въедут в Иерусалим; три христианских исповедания: Православие, Католичество и Лютеранство. Рождественский ветер плещет гривами лошадей, отблески лампионов заливают дорогу. Чрез Яффские ворота въезжают в цитадель; в лицо – жаркий гул толпы. «Где есть рождется Царь Иудейский? Видехом же звезду Его на Востоце и приидохом поклонитися Ему». Слышав же это, турецкий наместник Мехмет-Паша встревожится, и весь Иерусалим с ним. Впрочем, Мехмет-Паша, французский прихвостень, к тому времени вряд ли усидит... Монархи приветствуют толпу. Но не задерживаются: скачут в Вифлеем, что ничем не меньше во владыках Иудовых; дорога озарена огнями. «Ты, Вифлееме, земля Иудова» – вот он, Вифлеем, вырастает и пахнет дымом и молоком. И, войдя в Рождественскую церковь, возрадуются монархи радостью весьма великою. И Он, и Франц-Иосиф, и даже этот олух Фридрих-Вильгельм – все возрадуются...

В этой церкви, среди молений, Он и встретится с Ним.

С Ионой.

Как бы невзначай обратит внимание на детское лицо в толпе.

«А что это за отрок?»

Сколько тогда будет Ионе? Два года, три?

«Так вы говорите, убогие, из самой России пришли?»

Паломники кивают, распушась бородами; протягивают Ему младенца. Вспышка магии – на дагерротип для вечности. Он берет Иону на руки. Все переглядываются; впрочем, все знают, что Он любит детей. Лик Младенца с алтаря глядит, колеблясь; колеблются язычки лампад; мерцает над алтарем Серебряная звезда. Потом – конгресс в Иерусалиме, пальмы, журналы, унижение Франции; все это – под стук строительных топоров: Он начнет перестройку этого азиатского захолустья; академик Тон уже получил задание и погрузился в чертежи.

Из Иерусалима Он вернется вместе с Ионой – будущим спасителем России.

Второе донесение Он соизволит прочесть завтра.

Донесение о неожиданном и пока еще неясном объединении киргиз-кайсацких племен и о каком-то Лунном походе.

Новоюртинск, 21 февраля 1851 года

Медленно догорала зима, дымя слабеющими снегами, намокая оттепелью. На Обретенные главы Иоанна Крестителя завела выюга свою Иродиadinу пляску, но к полудню пробилося солнце и весело потекло с крыш.

Дела в крепости шли своим зимним чередом. Николенька работал над чертежом ремонта и перестройки церкви; службы шли пока в боковом приделе, подальше от трещины. В главном, запертом на починку, царил холод и будто слышались даже какие-то разговоры. Говорили, что на Рождество из главного придела доносились тихая музыка и голоса.

Комиссия всю зиму обсуждала наказание за ношение длинных волос. Ночью заседания перемещались за ломберные столики; и хотя выигрывала и проигрывала она самой себе, однако проигрышей сделалось так много, что возникла потребность в деньгах. Комиссии пришлось требовать взятки авансом, в счет обнаружения будущих, пока еще не вскрытых, нарушений. Новоюртинцы откупались из последних сил, на Комиссию стали поглядывать уже криво и без патетики.

– Поскорее бы уж весна! – восклицал Пукирев.

Прихода весны он ждал не из одних поэтических соображений. Весною возобновлялось почтовое сношение; надеялся, что письма и инструкции развеют накопившийся туман.

Остальные известные лица вели себя по-зимнему, то есть никак не вели, а только грелись. Маринелли зевал и терзал гитару. Павлушка после обмера волос был заперт с остальными нарушителями.

Вечером того дня случилась наконец почта.

Город заволновался; заволновался Николенька.

И письмо упало – от Вареньки. Николенька поцеловал конверт.

У Вареньки слегка изменился почерк. Сообщала о рождении сына. Мальчик здоров, а у нее, Вареньки, мигрень, она пользуется льдом. «Обстоятельства потребовали, чтобы я срочно покинула монастырь, где мне делали много добра, но и зла тоже – невольного зла». Снова о сыне, о синих его глазах. «О нем позаботятся». Она бежала оттуда – с тем самым трактирным человеком, Игнатом, ее спасителем, с которым у нее все только платонически, «как в наши времена уже и не может быть между мужчиной и женщиной». Бежали ночью. Или днем, утром, вечером; она расскажет ему все при встрече. При встрече? «Наш театрик вскорости доберется до вашей крепости». Она и Игнат прибились к «театрику». Сменили имена. В том театре как раз умерли двое – муж и жена. Вареньку и ее трактирного платоника взяли, его по реквизиторской части, а ее экстренно вводили в роли. Теперь театр движется по южным губерниям, пробуждая искусством заскучавшую за зиму публику. О ней заговорили, как о восходящей звезде. И снова – о сыне, теперь о Левушке, «нет ли каких от него сведений?».

В роли леди Анны из «Ричарда III» она имела успех. О детях думает ночью, разговаривает с ними, гладит пустоту. Выплывает луна, она смотрит на луну. На луне тоже – ее дети.

Мужа своего, Алексиса, нигде не упоминала и на луне его не высматривала.

«Прощай, милый брат, до скорого свидания».

Он не заметил, как начался снег. Сел за чертежи, не смог, грифель дрожал. Вылез во двор, вдохнул воздух. Как петербуржец, Николенька был воспитан на сыром снежке – здесь снег был сух, как поваренная соль; звонко ступалось по нему.

Спустился к крепостному валу, куда всю зиму сваливали снег, и сделал несколько приседаний, чтобы разогнать кровь по всем закоулкам организма. И принялся лепить из снега сооружение, похожее не то на церковь, не то на смотровую башню фаланстера, о которой все мечтал в Петербурге. Башня тянулась вверх, в сыпучее небо. Пальцы мерзли, сознание было горячим и радостным; он слышал свое дыхание. Башня выходила восточной, похожей на минарет; потом словно сами собой вылепились крепостные ворота, мечеть с арками, называемыми «арками воздуха», щитовидными парусами из пересекающихся арок, с синими сияющими михрабами...

Сам собой возникал город, город с желтым куполом.

– В городе шесть тысяч войска и сорок три пушки, нам ничего не угрожает, – выкрикивали глашатаи слова Наместника. – Городская стена надежно укреплена, гороскоп благоприятен!

Из всего этого жители верили только в благоприятный гороскоп.

Крепостная стена была достроена только подле дворца Наместника. Каждый новый наместник что-то перестраивал в ней, разрушал то, что было построено прежними наместниками, но не достроено, потому что прежние наместники и не собирались достраивать то, что строили. И нынешний Наместник тоже начал строить заново, и тоже не собираясь достраивать, а только исправить то, что построил его предшественник – хитрый, коварный, с бородавкой на носу. Нынешний Наместник отличался от него отсутствием бородавки: он гордился этим и даже заказал поэту стихотворение, воспевающее свой нос и его благородные свойства. Однако сегодня, когда улицы запахли страхом, правитель безжалостно теребил свой нос и ходил по недостроенной стене.

– В городе шесть тысяч войска и сорок три пушки, нам ничего не угрожает. Городская стена надежно укреплена, ров углублен, гороскоп благоприятен!

Гороскоп тоже был нерадостным. Но этого, кроме Наместника, никто не знал. Астролог был отправлен в подземелье, за несообразительность.

Вспомнив про несчастливый гороскоп, Наместник весь сжался и произвел нижнюю свою частью один непредвиденный, но весьма протяженный звук. Звук этот, похожий вначале на возмущенное кудахтанье, постепенно перерос в тонкий, жалобный вой. В этом звуке слышалось и воспоминание о детстве в бедном таджикском квартале, о келье в медресе, по которой бродили сквозняки, о побоях от покровителя, которому он был обязан всем и которого больше всех ненавидел. Под конец выпускаемый ветер приобрел звучание флейты, словно кто-то поместил благородный инструмент меж ягодиц Наместника. В этом флейтовом звуке слышалась печаль о доходах, о наложницах, мальчиках-любимцах, недостроенной башне и других вещах, которые ныне таяли, как призраки в пустыне жизни... Напев смолк, а сопутствовавший аромат влился в запах страха, плывший по улицам. Ибо многие мужчины и женщины, белобородые старцы и безусые юнцы, почтенные матери и востроглазые девчонки, благочестивые муллы и пара-тройка тайных харифитов, считавших, что Бог есть Буква и ничего более, – многие жители города в то утро произвели из своих расстроенных недр сходную мелодию. У кого-то она вышла более жалостной, у кого-то даже прозвучала как призыв дать отпор врагу. Но самой длительной и богатой оттенками она была, конечно, у Наместника – на то он и Наместник.

Вскоре эти невинные мелодии утонули в грохоте конского топота. Степь потемнела; неслись всадники. Темное знамя с желтой луной двигалось к крепости. Знамя зависло над головами в мохнатых шапках, над мерцающими копытами лошадей; казалось, не его несут, но оно тянет за собою всю армию.

Оглядевшись, Наместник заметил, что свита, с которой он вышел осматривать крепостные стены, рассеялась; что он один и вражеское войско заливают собою степь.

И еще он увидел, как какой-то оборванец карабкается по недостроенной стене.

– О, Повелитель!.. О, Повелитель! Я сочинил! Я сочинил! Воистину это лучшее сочинение о Носе, которое когда-либо писалось в подлунном мире!

Упал в неловком поклоне, выпятив тощий зад. Посыпалась строительная пыль.

– Встань, мой Поэт... Ты написал?

Поэт замаслился улыбкой, глаза сплюснулись до двух кожаных мешочков.

– Читай!

Поэт закатил глаза:

С имени Творца упоминания
Начинаю Носа воспевание!
На лице твоём колонной яшмовой
Он сравним лишь с Вавилонской башнею!
Славься, Нос правителя великого,
Воздух он дает для Луноликого!

Им вдыхает он масла воздушные,
Им он удаляет слизь ненужную!

– П-прекрасное стихотворение. – Наместник отер испарину. – Глубокое по смыслу и полезное для нравственности... Что-то нам нездоровится сегодня. Мы пойдем...

Наместник шел по стене; Поэт бежал следом за ним, пригибаясь.

– Прекрасные строки! Я бы посмел... Я бы посмел попросить скромную... Вой, стреляют! Скромную награду за мои труды!

Нос незаменим при чихе царственном,
При леченье снадобьем лекарственным!
Славься же, владелец Носа честного,
От прыщей и бородавок чистого!

Нагнав, упал, хватая Наместника за полы халата.

– От прыщей и бородавок... Скромную награду за воспевание вашего благословенного носа!

Наместник остановился.

Вытащил голубоватый камень, похожий на жемчуг, – выпал вчера из перстня, не успел передать ювелиру, чтобы вставил.

– Открой рот!

Дыра с двумя-тремя зубами раскрылась.

Положил в нее камень.

Глаза над дыркой наполнились счастьем. Рот блаженно закрылся.

Резь в животе Наместника достигла предела, ноги ослабли, он даже присел, чувствуя, что с ветрами из него вылетит душа.

И раздался страшный грохот.

Это выстрелила единственная пушка крепости, оказавшаяся исправной. Всадники за стеной отхлынули; но тотчас из их роя выставился ствол пушки. Раздался еще грохот; часть стены поднялась и, выдохнув пыль, рухнула.

А по улицам уже неслись всадники, разбрызгивая копытами лужи, которые через час станут красно-бурого цвета.

Волна Лунного похода накрыла город.

Мечети гудели, как улы, – жители прятались поближе к Богу, как дети под юбку матери. Другая часть выплеснулась через провалы в недостроенной стене, собираясь бежать. Воины крошили толпу на мелкие человеческие брызги, скакали следом, смеялись.

Город с желтым куполом пал, над куполом поднимался дым; в дыме кунжутными зернами всплывали вбóроны. Во дворце Наместника сидел Темир – предводитель Лунного похода. Рядом сидел его советник – сумасшедший Англичанин.

К вечеру жизнь стала втекать в прежнее, узкое и извилистое, русло. Трупы с улиц приказали убрать. Потом был издан второй приказ: всем жителям жить спокойно и счастливо. Остатки жителей, дрожа, повиновались и начали жить спокойно и счастливо.

Наконец, был отдан приказ о перестройке главных ворот: новой власти тоже не терпелось начать строительство. Впрочем, говорили, что сумасшедший Англичанин был против. «Я вообще не понимаю, для чего Азиатам так хочется постоянно что-то строить, если у них так хорошо получается все разрушать», – думал он, глядя на казнь, начавшуюся на базарной площади.

На огне грелись инструменты, поднимался дым, рядом стоял голый Наместник. «Славься, Нос правителя великого... Воздух он дает для Луноликого!» – бормотал он. Дым лез в лицо, палач колдовал над огнем.

Палач подошел к Наместнику и помахал возле его лица. Безумный крик. Палач быстро склонился над правой ладонью, что-то делая с ней. Еще крик. Палач поднял руку Наместника, показав всем ладонь. Толпа вздохнула, раздалось одобрительное цоканье. Визжащее тело бросили на коня; к коню тут же подскакал один из воинов. «Гони его в Нау-Юрт, к неверным, – пусть знают, что их ждет!» Воин хлестнул жеребца под Наместником, сам помчался следом. Вскоре оба исчезли в недостроенных воротах.

Новоюртинск, 20 марта 1851 года

Театр! Театр! Новость о его приезде растолкала город, согнав остатки зимнего сна. Говорили даже, что приедет сама Пигалицына, наделает фурора и оставит за собой шлейф дуэлей и жертв. Из Оренбурга охладили: Пигалицына лечится на Кавказских водах, но и без нее есть актеры, которые недурны и глубоко проникают в роль.

Для театра решили предоставить зал в Гареме при доме самого Саторнила Самсоновича. Там уже шумели распоряжения, были добавлены свечи и намечен буфет; стулы были выставлены на театральный лад и даже надушены духами – супруга градоначальника желала встретить театр во всю артиллерию своего вкуса.

Сам Саторнил Самсоныч в хлопотах участия не брал. С почтой он получил три депеши и проводил все время с ними, перекладывая их на столе в разном геометрическом порядке.

Первая депеша предписывала создать новую комиссию для проверки предыдущей – той самой, которая нагрязнула в Новоюртинск с первыми заморозками; и всё совала нос во все дыры; в этих дырах со временем завязла, раскисла и погрузилась в самосозерцание, столь частое у доброго русского чиновника в послетрапезные часы. Эта комиссия уже не требовала отчетов, а если и открывала рот, то только для полнозвучного зевка. После проверки волос она окончательно прекратила всякие подвиги и избрала тактику заседаний, на которых дремала и выдёвывала постановления.

Теперь же предписывалось создать новую комиссию, причем из местных чиновников, одухотворенных идеей служения Отечеству. Саторнил Самсонович даже крикнул: где их взять, одухотворенных?

Одна кандидатура в депеше называлась: фельдшер Казадупов! Саторнил Самсоныч крикнул вторично, однако крик этот проглотил и стал приглашать фельдшера, присматриваясь и принимаясь к нему. Присматривание явило обрюзгшую физиономию с родинкой, а принюхивание – запах лекарств и табака, приносимый Казадуповым и развеиваемый по комнатам. «Табачная лавка! Табачная лавка!» – вышагивал вокруг стола Саторнил Самсонович.

Подходил к столу и перекладывал депеши в новом порядке.

Во второй депеше говорилось о явлении среди киргизцев некого султана Темира, туманной азиатской личности. Хуже всего, что при нем замечен Англичанин, а англичане – народ такой, что просто, без политики, по степям не шляются.

Депеша призывала «взять срочные меры и не допустить повторения истории с Кенесары Касымовым».

...Кенесары шалил в степи лет десять, с тридцать седьмого года. Нападал то на казаков, то на мирных киргизцев; нападет, начудит и схлынет. В тридцать восьмом налетел на Акмолинский приказ, сжег, поживился пленными – и в степь, не достанешь, один песок поймашь в ладонь! А Кенесары – снова сгустится, совется где-нибудь на путях в Ташкент, караваны щупать и откупы из них вытряхивать. Летят жалобы, высылаются новые войска, теснят Кенесары к югу, к Кокандщине, – там тоже на дорогого гостя сети развешаны. Кенесары – ужом,

туда, сюда; тесен сделался для него степной воздух. Косматую шапку долой, запросил государя об амнистии. Не хотели в Петербурге этот живой ураган амнистировать, но вступился оренбургский губернатор, расписал Кенесары как прямодушное дитя Природы, «в лице которого Российская корона приобретет...». Вскоре амнистированное дитя взялось за старое. Провозгласил себя ханом да еще потребовал от Оренбурга признания своего ханства. Хотя там его уже раскусили, но выслали посольство: звали на российскую службу и даже земли обещали предоставить. Кенесары все эти посулы слушал, поглаживал колено и молчал. Не хотел лезть в российское подданство и караваны без развлечения и выгоды для себя пропускать. Посидело посольство, поговорило и, прикрыв ладонью кислую кумысную отрыжку, съехало; из Петербурга последовало распоряжение: действовать, «не прибегая к оружию». Стали теснить Кенесары укреплениями, заполнилась степь строительным гвалтом. Заткнул уши Кенесары: застроенная степь для киргизца – что за степь? Степи просторной надо быть, чтобы вольные ветра ни обо что не спотыкались; «а эти русские ее своими строениями пакостят». Плюнул и откатился на юг, снова к кокандцам, на их крепости – которые известно, что за крепости: бугорки земляные. Отбил у них Джелек и Новый Курган и уже к Белой мечети прищуривается. Кокандцы, однако, были не то что русские – посольств не слали и пилюль не подсахаривали: подкрепили против Кенесары горных киргизцев, те захватили Кенесары, башку его буйную отсекли и отправили ее, по восточному этикету, в Коканд...

И случилась это всего четыре года назад; едва Степь успокоилась – опять новости!

– Повторения Кенесары Касымова быть не должно! – говорил Саторнил Самсонович собравшимся у него на совещании.

Собравшиеся кивали, чай остывал; обе комиссии, разбросанные по стульям, истекали дремой.

Стали думать над формулировкой. Кто-то предложил «усилить», кто-то – «принять неотложные меры».

– Господа, господа, предлагаю и то, и другое. И усилить, и принять меры.

– Эх куда загнули! И то, и другое – выйдет ли? За двумя зайцами! Нет уж, извольте что-то одно. Либо усилить, либо принять. Не нужно разбрасываться!

– «Неотложные меры», а не просто меры. Просто мер может и не хватить.

Кто-то начал рассказывать для примера анекдот про зайцев:

– А зайцы и побегут!

– Какие зайцы?

– Все ж таки я, господа, за «усилить». Без «усилить», хоть и с мерами, оно слабо.

– При чем зайцы? Нужно узнать, какое у него войско.

– У кого?

– У Кенесары этого, Темира.

Вплыла супруга Саторнила Самсоновича в чепце, напоминавшем куст розы.

– Сатоша! – надвинулась розами на мужа. – Сатоша, ты обещал все кончать в два часа. Я не могу обладать возможностью готовить зал. Ты, вероятно, хочешь, чтобы, когда прибыл театр, мы имели позор!

– Голубушка, срочное, срочное дело!

Супруга сложила губы бантиком и уселась сфинксом в свободное кресло.

– Только срочные меры, а не просто.

– Танцевальщик танцевал, а в углу сундук стоял...

– Господин Казадунов, дело трэ серье, а вы водевиль. Степь бунтует, ву компрене, кель последствия это может иметь пур ну?

– Танцевальщик не видал, спотыкнулся и упал!

Фельдшер поднялся, пощипывая родинку. Оперся животом о спинку стула.

– Господа! Господа. С горечью и отравленным сердцем взираю я на наше собрание. Да простит меня высокоблагороднейший Саторнил Самсонович, и да пошлет ему небо всяческих сочных плодов и знаков отличия, ему и супруге его благоухающей, но позвольте, Саторнил Самсонович, позвольте! Где патриотизм? Где корни?

И Казадупов скосил взгляд вниз, сквозь живот, на пыльные носки своих сапог. Прочие тоже уставились на свои сапоги и даже ощутили зуд в пятках – вероятно, признак прораставших оттуда корней. Даже супруга Саторнила Самсоновича, не имевшая сапог, почувствовала некоторое патриотическое беспокойство под юбкой и оправила оборки.

– Позвольте, господа, процитировать на память великого писателя земли русской Николая Зряхова, который есть также и великий философ – впрочем, русский писатель всегда еще и философ, только не немецкого, а живого направления. «Наши воины...» То есть вот именно так: «Наши воины, пламенея истинною любовью к Царю и Отечеству, переходят бездонные пропасти, достигают вершин и, как бурный поток, свергаются долу. И, представ пред взоры смущенного врага, приведенного в ужасную робость, невзирая на выгодную позицию, им занятую, и на пламень многих орудий, изрыгающих смерть, идут на штыках – провозглашая победу Царю Русскому! Бросают к его стопам лавры – и просят новых повелений, куда еще им парить для наказания врагов...»

Иль забыли вы, что грозный
Наш трехгранный русский штык
По десятку, коль не боле,
Вас нанизывать привык?

Последняя фраза была приправлена такой жестикующей, что все так и увидели, как мягкие места врагов протыкаются русскими штыками.

А Казадупов все махал руками.

– Совершенно верно – грозный штык! Где, спрошу вас, этот светоносный штык? Где духовность? Везде плевелы. По кабакам и даже по благородным помещениям расцветает пьянство. Везде карты, мазурки, революции; младенцы открыто называют своих отцов дураками и имеют за это поощрения от журналов. А в журналах публикуют одних масонов, только за то, что они ловко пишут в рифму. Свобода – народа, эгалитэ – фратернитэ. Эдак каждый может. Содом – друа-дэлём!⁸ А знаете ли вы, господа, что писать в рифму масоны придумали?! Сам вот этими вот глазами читал в одной почтенной книге. Когда их тамплиеры в Крестовый поход в Палестину ходили, то тамошние ассасины обучили их содомской моде и писанию в рифму. А до того никакой рифмы не было, и на супружеском ложе дисциплина и порядок. Потом об этом масонстве доложили Филиппу, королю, и он, как человек Средневековья, велел всех масонов и тамплиеров сжечь. А что толку жечь, зараза уже по журнальчикам расползлась, теперь все французы уже масоны. А раньше никакой рифмы не было, и русские былины были без нее, и Илья Муромец, и всё без рифм, однако ж татар прогнали. А теперь зато, извиняюсь, просвещение и Содом друа-дэ-лём, и Смирдин ложит в карман себе миллион. И когда на нас новый Чингиз-хан со своим игом идет, потому что этот Темир и есть Чингиз-хан, о котором англичане давно в газете печатали, мы, вместо того чтобы поднимать дух и вдохновляться примерами, занимаемся мишурою!

– Однако... – пошевелился Саторнил Самсонович. – Что же вы предлагаете?

– Я предлагаю. – Казадупов выкатился из своего места и сквознячком взлетел на подмости. – Я предлагаю...

⁸ Равенство, братство... права человека (*фр.*).

Было заметно, что ничего предлагать он и не собирался. Но тут, словно получив озарение, выкрикнул:

– Высечь!

Новоюртинск, 21 марта 1851 года

– Нет!

Маринелли, глядя на Николеньку, улыбнулся дымящимся ртом.

– Посуди, Николя, как я мог протестовать? Казадунов всех убедил. Так что высекут. И Волохова, и остальных волосатых.

– Где он сейчас?

– Павел-то? Бог его знает. Не суетись. Проведут сквозь строй, русский мужик от наказаний только хорошеет... Ты это куда? Ну и к кому ты сейчас побежишь? Кто тебя станет слушать? Ну и иди!

К городу подъезжали четыре повозки.

В трех сидели люди; в одной помещался реквизит, платья и отрубленные головы. Все это было увязано в баулы; на баулах дремал бывший трактирный человек Игнат.

Этот был тот самый Игнат, который выходил прошлой зимой полумертвую Вареньку: купил у аптекаря немецкую пилюлю, окропил святою водой и давал больной. Та через несколько дней пришла в сознание и стала осматривать окрестности. Осведомилась слабым голосом, где находится. Игнат, глубоко дышавший, подал из угла голос: «В городе Змеюкинске!» То ли от громкости ответа, то ли от меланхолии, заключенной в названии города, с больной случился приступ. Смеялась и рыдала; Игнат топтался возле нее с бесполезной чашкой воды, которую Варенька отвергла. Вообще первые дни она гнала его от себя; потом вдруг потеплела, что-то поняла про него. А он сидел, гнилым зубом улыбался, а так, если не зуб и не щуплость, то и на таких охотницы бывают. Только было налачился разговор – является процессия в мундирах, целуют Вареньке ручку и увозят в сумерки. Бросился за ней, а там только карета – цок-цок, – брызнула ему в лицо из-под колес глиной и унеслась. Сколько носился он потом за Варенькой, сколько хлебнул, пока настиг ее – и где? – в монастыре. Лютинский женский монастырь, там и сидела его птица, да не одна, а с птенцом. Другой бы от такого расклада загрустил, а Игнат только радуется, сам себя по лбу хлопает: и как он прежде признаков не заметил? Ходит вокруг монастыря, в мечтах одна Варенька светится, а младенца он себе представляет, как на Владимирской – со строгим лицом и округлыми глазами. Ходит, ждет – может, блеснет личико Вареньки в оконце? Трава у монастыря колыхается, падает в нее Игнат и мечтает. А облака кисельные, то просто проплывут, то теплым дождем лицо помоют. Только вдруг – снова та же коляска, которая тогда Вареньку от него увезла, в сторону монастыря летит, пыль завивает. Вскочил Игнат, а коляска – хлоп! – и запнулась о кочку, колесо – вбок! Своих людей не хватило с поломкой сладить, зовут Игната из травы: эй, подсоби, что там развалился?! Игнат и подсобил и так с хромой коляской в монастырь попал. Там коляска произвела переполох, сама игуменья снизошла к гостям, а гости – те же, которые и в трактир к Вареньке являлись: в мундирах. Игната на кухню отослали покормиться, он выюркнул и – пока весь монастырь вокруг кареты топтался – шмыг в келью. Тут на счастье Вареньку и увидел – в черном платице. Заметила его, заалела: «Увези!» А у него язык не шевелится. «Увезешь?» С такой силой кивнул, чуть головою об стену не треснулся. Только неподалеку дверь скрипнула, Варенька Игната – за руку и втянула в свою келью. Шаги зашумели, в дверь стукнули. Тут Игнат сам сообразил: закатился колом под Варенькину постель, занавесился; Варенька сверху села. И зашли те самые гости, которые прибыли на поломанной карете, и стали говорить с Варенькой по-французски. Игнат весь напрягся, чтобы разговор понять, французский для него дальше трактирного лексикона – мерси да гранд-мерси – темный лес; понимает только, что Варенька в большой тревоге и ножкой по полу стучит. Гости вышли; Варенька зарыдала, а он еще думал, что это только русскою

речью женщин до слез довести можно, а от французских слов они только улыбаются и подмигивают. Тут он голос снизу подал: «Варвара Петровна! Не рвите душу, скажите, что хотят-то от вас?» А она аж подпрыгнула, забыла про гостя под собой. Отдышалась, заглянула заплаканным глазком: «Сына моего хотят от меня забрать, а меня здесь навечно заточить». В ту же ночь они бежали, а потом – театр, Варенька сделалась Верой Никольской, он по реквизиторской части, платьями, кинжалами и отрубленными головами заведует, работа несложная, только за головами глаз да глаз, все так и норовят хоть одну на память оставить...

Из этих мыслей Игната вывел стук копыт. Выглянув, увидел всадника, видом киргизца. Степь была в мелких, отцветавших тюльпанах. Потянувшись, Игнат упал обратно на свои баулы. Но сон уже был развеян, он выглянул, стал вщуриваться в юрты вдаль, в две-три русских избы; возле них выстроились собаки, готовясь при приближении возков обдать их лаем. Возки обогнули холм; город выкатился на них в деловитых утренних дымах; лошади, предвидя себе скорые каникулы, побежали быстрее. Игнат стал искать гребенку: хотелось въехать в город кавалером, а не трактирную вороной.

– Вон! – кричал Саторнил Самсонович. – Поди вон! И слушать ничего не желаю!

– Но за одни только волосы подвергать личность телесному наказанию... – не отступал Николенька.

– Не твоего ума дело! Не твоего ума!

Инцидент завершился для Николеньки плачевно. Он был взят под стражу и посажен на трое суток на гауптвахту. Если бы его вели по Оренбургской, он бы мог увидеть возки театральной труппы, бегущих за ними детей, лающих собак; даже заметить быстро выглянувшее лицо Вареньки. Но его вели другой, второстепенной улицей, которую так часто переименовывали, что каждый называл ее так, как хотел.

Алексей Карлович Маринелли уже знал о прибытии театра.

Он стоял на плацу; ветер выдувал из глаза холодную слезу. Рядом приплясывал с табакеркой Казадупов, оглушая плац иерихонским чихом.

– Ах ты мамочка моя, ну давай, еще прочистим, надо иметь в носу полный порядок. День-то сегодня какой! Театр приехал! Самого Шекспира, говорят, ставить будут. А Шекспир для ума – все равно что табакерка для носа!

Им обоим, Казадупову и Маринелли, поручили присутствовать на экзекуции. Солдаты были расставлены, шпицрутены заготовлены.

– Хлоп-хлоп – и все! – говорил Казадупов, пряча табакерку. – Нечего тут метафизику разводить, правильно?

Ему явно хотелось зацепить Маринелли беседой.

– Слышал я, драгоценная ваша супруга среди корифеев сцены к нам прибывает?

Маринелли повернул к фельдшеру белое скуластое лицо:

– Это вас не касается, мосье Казадупов.

«Мосье» нарочно выговорил с особой простонародностью.

– Зря, зря, Алексей Карлович. Зря расходуетесь на метание молний. То, что супруга от вас сбежала, это, разумеется, ваши священные семейные тайны. Но вот то, что она теперь, так сказать, собственноручно к нам прибывает... Это уж дело общественное. А вы тут как ни в чем не бывало экзекуцией любоваться собрались.

– Казадупов! – Маринелли надвинулся на фельдшера. – Казадупов, разве не вы предложили эту экзекуцию? Разве не ваша эта идея?

– Понятно, понятно... Только зря вы насчет того, что экзекуция – моя, как вы выразились, идея. Меня тогда на собрании не так поняли. Я ведь употребил тогда это слово в виде аллегии. И имел в виду некое нравственное наказание, для поднятия нравственного же

духа. Говорил о шпицрутенах просвещения, бьющих по грязным спинам нашего невежества. О духовном, о нравственном ремне, который необходим нашему человеку. Поскольку, дорогой Алексей Карлович, шпицрутен, в смысле – материальный, физический шпицрутен, который сейчас вон из того ведрышка достанут, есть немецкая вещь и неорганическое принуждение над русской душой, против чего я как патриот протестую. Вы же даже не знаете, что я целую патриотическую философию сочинил! Первую подлинно русскую философию! Рассказать ее вам – вкратце, для взаимополезного коротания времени, а? Изложить-с?

Стали выводить наказуемых. Один, второй. Третий. Голые по пояс; один кашляет. На груди – почерневшие от пота крестики. Маринелли отчего-то стал гадать, снимут с них сейчас эти крестики или нет, в них сечь будут? На каждом крестике – по одному раскинувшему руки человеку, в существование которого Маринелли никогда не верил. Но ему казалось это неудобным, неприличным, что этот человечек с крестика, болтаясь на грязной солдатской груди, будет наблюдать, как совсем рядом с ним лупят розгой, совсем рядом с той цепочкой, на которой он повис, словно в воздухе.

Последним вышел Павлушка. Заметив Маринелли, улыбнулся ему. Или Казадупову. Дурак. Иванушка-дурачок!

На груди Павлушки тоже темнел крестик – но странной формы: с лучами.

Низко плыло, разваливаясь, облако. Ветер бросал в лицо песок, запах дыма из татарских домов, где по случаю праздника Навруза жарились парадные кушанья.

Казадупов развертывал свою философию.

– Идея моя, Алексей Карлович, основывается на двух научных фактах. Каждый народ, каждое племя производит две вещи. Во-первых, производит себе государство, то есть свою внешнюю неорганическую оболочку. Во-вторых, рождает внутри себя дух, душу – органическое начало вроде слизи и нервных волокон. Так вот, есть народы, которые одинаково способные и к неорганическому, и к органическому творчеству, то есть и к государственному, и к душевному. Таковы счастливые, биологически полноценные племена. Но некоторые народы способны только к одному. Либо по своим историческим обстоятельствам они развиваются только в одну какую-нибудь сторону. Иудейское племя, например, оказалось у себя на родине совершенно неспособно к твердой государственности, и оттого все его народные соки ушли на органическую деятельность, на религию и ученость. Или господа немцы, не сумевшие воспитать свою государственность дальше мелких княжеств или самодурствующей Пруссии – тоже не великой, если взглянуть на нее географически...

Стали выстраивать, раздавать розги. «Для чего я здесь?» – думал Маринелли – но глаза его, жадные южные глаза уже впились в стройно стоящие ряды, в подтянутую фигуру барабанщика, в тела казнимых. Звенело от избыточной синевы небо; ливень солнечного света извергался на голые торсы, которые через несколько минут будут рассечены кровавыми полосами. «Я должен остановить это...»

А сбоку – табачным шепотком Казадупов:

– ...Если народу не удалось осуществить свою неорганическую миссию – то есть создать цельное государство в отведенных ему географических пределах, то это еще не значит, что он замкнется на одной органической, духовной деятельности. Нет, многие народы в таком положении начинают озиаться вокруг и искать другие, еще менее расторопные по части государственного начала племена. И вот тут лежит главная аксиома моей философии. Слушайте! Наше Отечество и есть печальное место, где те племена, чья неорганическая функция не смогла осуществиться, постоянно внедряют свою государственность, лишь слегка прикрывая ее разными русскими фразами. Но как только у них возникает возможность воплотить ее у себя, в своей природной земле, сразу теряют к Руси вкус, бросают начатую здесь неорганическую, государственную деятельность, ввергая все в хаос. Обозрим коротко историю российскую...

Палочки застучали, вначале медленно, потом быстрее, еще быстрее. Над плачем, над бритыми затылками, над голыми, неготовыми к боли, спинами; над головой Казадупова понеслась дробь. Всколыхнулись птицы. Палочки вдруг замерли – и застучали медленно, отчетливо выпелкивая каждый звук, словно сами были шпицрутены, а барабан – повинною спиной. Тра-та-та-та. Тра-та-та-та. Первое тело было втолкнуто в длинный ряд; просвистел первый удар. Маринелли вздрогнул. Тра-та-та-та!

– Вам, Алексей Карлович, безусловно, известна эта легенда о призвании варягов. То есть не легенда, а прямая быль, поскольку именно эти древние скандинавы, не имея тогда государства по причине скудности своих земель и непригодности их для цивилизации, принялись «править Русь» – вводить на славянских землях, заселенных вчерашними скифами, свое представление о порядке. Все эти Ольги, Игоря, Олеги – все это скандинавские, нордические имена; самая идея государства пришла тогда к нам как северная, рассудочная идея. Так явилась Киевская Русь – скандинавская государственная схема, расцветшая на тучных почвах русского юга. Чего не хватало ей? Только религии, ибо религию как органическое, духовное начало варяги привнести не могли, – они сами не обладали ею, сами были язычники. Отличие их язычества от нашего славянского было лишь в большей рассудочности и отвлеченности, о чем свидетельствуют их эпические песни. Религию – православное христианство – они заимствовали у греков, византийцев. Это было высшею точкою Киевской Руси, воплощенный, так сказать, «путь из варяг в греки», использовавший славян, руссов, лишь как временный исторический материал. Однако затем скандинавы стали преуспевать в неорганическом государственном творчестве у себя на родине; развилась Швеция, и весь неорганический скандинавский гений сосредоточился в Швеции, оставив Русь в небрежении, за которым последовали княжеские распри, раздробленность и подчинение татарам...

Первые удары были незлыми; стегали нехотя, по обязанности. Но и от этих осторожных, почти сострадательных ударов спины вздулись, опунцовели; лбы покрылись испариной. А барабан все подбадривал; постепенно удары пошли правильнее, злее – солдаты входили в раж. «Как шаманы под звуки бубна», – думал Маринелли.

– Однако татары вскоре оказались неспособны сохранять примитивный плод своего неорганического гения – Золотую Орду. Орда, раздираемая восточными интригами, теснимая Тамерланом, дряхлая и распадалась, а татары переходили на службу к тем самым русским князьям, которых еще вчера гордо угнетали. И государственный гений татарства, с упадком Орды, возродился в Московском царстве. В отличие от варяжского, рассудочного духа, пришедшего к нам с Севера, это было деспотическое дыхание Юга; когда к Московскому царству отошли почти все прежние земли Орды, дух этот укрепился вполне. Однако, как и с варягами, долго это не продолжалось; как только стала усиливаться Турция, где татарским, тюркским началом был окончательно подавлен прежний греческий элемент, вся неорганическая энергия татарской государственности устремилась туда. Русь же снова – после Ивана Грозного – погрузилась в смуту, отягчаемую вдобавок наплывом беглых греков, которые, потеряв государственность в Царьграде, попытались осуществить ее атавизмы у нас. Эту работу облегчало им наличие на Руси византийской церкви – они воспользовались церковью, желая предать ей неорганическую, государственную силу и тем самым сокрушить ветшавшие остатки татарской идеи. Отсюда проистек наш раскол; отсюда все притязания патриарха на равенство с царской властью, отсюда «Москва – Третий Рим» и византийская хитрость, синтезированная с татарским невежеством. Такою застал Русь Петр...

Удары уже сыпались со всей яростью; семь кровавых тел извивалось под ними. Барабан захлебывался; небо пылало синевою. Внезапно на колокольне, высверкивавшей вдали крестом, забили колокола – день памяти святителей Кирилла, епископа Катанского, и Фомы, патриарха Константинопольского. Руки со шпицрутенами остановились; осекся барабан. Солдаты крестились, не глядя на окровавленные ими тела. Ветер трепал взмокшие волосы, усы, холо-

дил слипшиеся от пота ресницы. Кто-то из наказуемых стонал; некоторых поддерживали товарищи – только что хлеставшие их.

– При Петре на Русь хлынули немцы; татарский и византийский элементы были почти смыты этим наплывом. Заскучав в своих мелких княжествах, немцы принялись устраивать свою неорганическую жизнь здесь, проникая во все складки государства и перерабатывая их по-своему. Таково было новое направление – направление с Запада, материалистическое и торгашеское. Немецкий ум – ум мелкого лавочника, конторщика. Русь обратилась в контору – огромную контору от Балтики до Берингова моря...

Колокола отгремели; удары посыпались снова. Маринелли смотрел, как замороженный, на свистящие удары шпицрутенов, на конвульсию барабанных палочек и вздрагивание тел. Над кровоподтечными спинами уже кружились мухи, наполняя воздух густым благодарным пением. По спинам текли ручьи крови; крестики были тоже в крови. «Какая же я сволочь, – повторял Маринелли про себя, как заклинание, – сволочь, сволочь». Он выкликал свою совесть – сквозь барабанный звук. Камлал, бормотал себе оскорбления, обнял ладонью шею – будто поправляя ворот, – стал душить ее холодными, мокрыми пальцами. Ему даже захотелось, чтобы их секли обнаженными, чтобы было – как на стене Сикстинской капеллы – лес корчащихся тел. «Какая же я дрянь!»

«Дрянь! Дрянь!» – бодро отстукивал барабан.

– Только долго это длиться не будет. Сейчас уже заметно объединение Германии в крупную державу – немецкий государственный дух вскорости будет там затребован во всей своей полноте и покинет матушку Россию. Значит, чрез несколько десятилетий, как только неорганическая хватка германства ослабеет, нас снова ожидают смуты и мятежи. И здесь нужно не упустить момент. Здесь нужно, наконец, обратиться к своей собственной, русской неорганической идее. К русской государственности, которая все эти века вызревала, но которая каждый раз отступала перед натиском гордой иноземной воли. Я говорю о русской общине, которая есть наше государственное зерно. Но прийти к этому мы сможем только через очищение. Только через очищение. Потому как даже вот эта вот экзекуция, кровь, и все эти негуманные и нецелесообразные с точки зрения немецкого духа поступки, – это есть возвращение к нашему общинному... К нашему корневому, когда не внешнею силой, но сами друг другом... Алексей Карлович! Голубчик, что с вами?!

Кто-то из окровавленных закричал – завыл воем. В эту же секунду горячий спазм пронзил тело Маринелли – спазм совести, высшего наслаждения, даруемого высшим самоуничтожением. Алексис покачнулся, не отрываясь восторженными глазами от экзекуции, сделал шаг... Экзекуция остановилась. «Продолжайте! – крикнул Алексис. – Ну!» И он замахал руками, как дирижер.

– Вы перегрелись, Алексей Карлович, – теснил его в сторону фельдшер. Потом бросился к стонущим телам. К первому – Павлушке: склонился над ним, что-то говорил. Павлушка в ответ шевелил губами, благословляя людей, птиц и лилии полевые...

Новоюртинск, 22 марта 1851 года

Давали «Короля Ричарда III».

– Десять свечей для освещения сцены, – говорил Андрей Яковлевич, антрепренер, маленький круглый человек с водевильными усиками. – Сколько, говорите, они дали?

– Всего пять, – отчитывался Игнат. – И то, говорят, из милости.

– Пусть подавятся остальными вместе со своей милостью. У нас не театр теней, скажите им. Впрочем, если они сами хотят сидеть в темноте... Это что такое?

– Это свечи. Которые они дали.

– Это? И что, они еще и горят? Дают свет? Удивительно. Ампозибль! Из чего они, интересно, изготовлены? Держу пари, из тех самых верблужьих лепешек, которые мы видели там

в степи. И этим они хотят освещать Шекспира! Нет, нам следовало бы сразу уехать отсюда – пусть им их киргизцы ставят спектакли...

Андрей Яковлевич швырнул свечи на пол.

– Так и хочется вытереть после них обо что-то руку... Поддай вон тряпку. Нет, не эту! Эту, я сказал. Игнат, ты спишь. Ты живешь во сне.

– Я не сплю, Андрей Яковлевич... – говорил Игнат сквозь зевок.

Предыдущим вечером был большой ужин у градоначальника в честь служителей Мельпомены; вино было плохоньким, но после двенадцатой или пятнадцатой бутылки взяло количеством. Одушевляла вечер супруга градоначальника, украсившая для того свой чепец разноцветными лентами и замазавшая седины французскою краской. Весь вечер она шутила и если замечала, что ее шуткам не смеются, смеялась первой и тем давала пример. По мере увеличения числа бутылок ее шутки стали встречать больше веселья, а наряд и манеры – некоторое даже восхищение. Она, со своей стороны, также не отвергала ничьего фимиама и порхала, наслаждаясь своим гостеприимством и умением поставить беседу.

Одна Варенька была печальна и задумчива – впрочем, общественное мнение постановило, что задумчивость ей очень идет, и если бы она, напротив, хохотала и посылала безешки, то это было бы не так приятно. Игнат знал, отчего Варенька бледна – все пыталась разыскать брата и даже справлялась у самого градоначальника, но тот только пробормотал, что солдат Николай Триярский в городе отсутствует... «Где он? Я должна его увидеть». «Увидите, непременно увидите...» – пятился Саторнил Самсоныч, роняя с вилки маринованный грибок. Ночью – плакала, держа Игната за ледяную от волнения руку: «Помоги мне найти его... Он где-то здесь, я чувствую! Поможешь? Посмотри мне в глаза! Ты никогда не смотришь мне в глаза... Ты знаешь, что самое страшное? То страшное, что я сегодня узнала? Здесь мой прежний муж. Да. Чудовище, растоптавшее мою жизнь. Для чего тебе знать его имя? Ты ревнуешь? Посмотри мне в глаза... Нет, не так. Хорошо, его зовут Маринелли, он здесь по каким-то делам, но на вечере не был. Почему его не было на вечере? Не смотри на меня так! Ну что ты сразу опускаешь глаза! смотри, только по-другому. У тебя собачий взгляд, мне от него плохо. Ну что ты...» Он молчал. Она выпустила его руку и растворилась, пожелав спокойной ночи. (Ему – спокойной! Весь остаток ночи будет думать о ней, перебирая в памяти все их редкие и бестолковые разговоры. Такого, как сегодня – чтобы за руку, – еще не было. «Смею ли я надеяться...» – мысленно обращался к ней. Надеяться – на что? На мезальянс она не пойдет: горда, вспыльчива – польская кровь. Еще и Маринелли: муж – не муж, боится его; когда произносила имя – пальчики похолодели. На что же он надеется? Ни на что. Быть рядом; чтобы иногда – вот так – за руку...)

Наутро он уже бегал по театральным хлопотам, попутно пытаясь вывести насчет Варенькиного брата. Никто толком ничего не говорил. Настал вечер; зажглись окна в зале градоначальникова дома, где должны были забуллить шекспировы страсти. Актеры облачались. Ричард натянул горб и строил в пыльное зеркало рожи; Кларенс, от которого пахло так, словно он уже побывал в бочке с мальвазией, ходил, шатаясь и икая, и спрашивал, как далеко отсюда до Лондона... А Игнат поднимал с пола злосчастные свечи, пересчитывал отрубленные головы, заглядывал в зал, где уже набиралась публика. Ударил себя ладонью по лбу: Варенька! Уже дают первый звонок, а ее все не видно!

Она сидела в отведенной ей под переодевание комнатке: кабинетик, заваленный бумагами. Сюда, за неимением лучшего помещения, препроводила ее жена градоначальника, сложила губы в поцелуй и исчезла. В глубине светилося зеркало. Варенька в зеркале была бледна; в тонких пальцах белел платок, кисть другой руки слегка оперлась на лакированную поверхность.

Она должна была играть леди Грей. Хрупкую дурочку; появляется, сопровождая гроб свекра – короля Генриха Шестого. Варенька медленно расстегивает платье – старенькое, вот и два пятнышка на корсете – откуда? Интересно, мучилась бы Анна Грей из-за двух пятнышек на платье? Нет, в ту кровавую эпоху женщины не расстраивались из-за таких мелочей. Платья у этих несчастных должны были быть постоянно мокрыми от слез. А теперь женщины почти разучились плакать, даже в обморок падают как-то неумело.

Варенька освободилась от платья; зеркало тут же – о, зеркала это любят! – выхватило тонкое обнаженное тело. Надела новое – леди Грей. Наштриховав синеву под глазами, прошлась по комнате – проверяла на себе платье. Великовато. Просила ведь, чтоб ушили! До нее в нем играла... как же ее? Забыла. Играла – и умерла; женщины шептали – отравилась, мужчины молчали... Варенька прошлась еще, стуча каблуками.

Случайно задела стол.

Стол качнулся, несколько бумаг прошелестело на пол.

Наклонилась, чтобы поднять.

– О боже...

Приблизила к свече, перечитала еще раз: «...предписываем названную девицу Никольскую задержать до дальнейших распоряжений». Никольской была она, после побега. Ее должны арестовать. Выследили!

«Только не разреветься. Только не разреветься, а то потечет грим!»

Зашевелилась дверная ручка.

– Да-да! – Варенька бросила бумагу на стол, метнулась к зеркалу, в кресло, сделала вид, что доводит грим.

Впилась в зеркало – кто?

На пороге стоял Саторнил Самсонович, играя тонкою бисквитною улыбкой:

– Любезная Варвара Петровна... Не помешал-с?

Варенька кивнула, продолжая что-то доштриховывать:

– Нет, что вы, Саторнил...

– Самсонович! Самсонович... Однако можно и без отчеств. К чему отчества? Мы, так сказать, пред лицом искусства – равны...

– Саторнил Самсонович, я бы хотела... Мне перед спектаклем...

– Да-да, душенька, понимаю-с! Отвлек от аксессуаров. Позвольте только одну... один разговорчик, в котором вы лично имеете интересик, раз уж выдалась минутка...

Вернулся к двери, быстро запер ее на ключ.

– Для чего же закрывать дверь?

– Так уши, ушки везде, любезная Варвара Петровна! – Вынув ключ, снова направился на Вареньку, уже увереннее. – Комиссии, одна, вторая, проверки. Все выискивают; а что выискивать? Я человек простой, тайн не прячу, вырос без отца да и почти без матери, до всего своим умом, и чины, и вот – интерьер, как видите, а что комиссии? Приедут, посмотрят, напылят... Вот и все комиссии! А мне одна радость – порядок и такая гармония чтобы везде, и сердце иметь для целебного разговора, которое бы понимало и отзывалось на твои тайные лиры...

– Изъяснитесь яснее, Саторнил Самсонович! – перебила Варенька, которой эти «тайные лиры» совсем не нравились.

– Слушаюсь, богиня! – Пукирев свел ладони. – Я, собственно, о братце вашем... Я ведь сразу, как на вас глянул, понял, кто вам Николай Петрович. Похожи-с очень!

– Да, мы похожи... Но что с ним?

– Цел и невредим, уверяю вас! Благоденствует... – Пукирев осекся, почувствовав, что насчет благоденствия перебрал. – Варвара Петровна! Если вы только пожелаете, будет он перед вами стоять... как огурчик!

– Да, я этого желаю. Что же дальше?

Его дыхание еще сильней защекотало ее щеку – она даже провела по ней рукой, пытаясь снять...

– Богиня! Дальше... Он же от меня зависит... от меня все тут зависит. А от вас зависит... Хотите, на коленях стоять буду?

Она видела – в проклятом зеркале – как его рука тянется к ней, касается плеча. («Господи, что же это такое?... Еще и это дурацкое платье!»)

Встала:

– Как вы могли мне это предложить? Я замужняя женщина, и мой муж, кстати, вам известен. И потом – сейчас спектакль, скоро мой выход.

Направилась к двери. Оглянулась: два Пукирева (один – зеркальный) глядели на нее.

– Сейчас вы изволите отпереть дверь, а когда кончится спектакль и я повидаяюсь с моим братом, мы... я буду готова вас выслушать.

«Плохо... И как искусственно! А в последней фразе еще и голос дрогнул!»

Пукирев послушно достал ключ и двинулся к двери – к Вареньке. Подошел – с выставленным ключом, открывать не торопился. Снова обдал дыханием:

– Богиня...

«Господи, опять эти руки...»

– Я сейчас буду кричать на помощь!

– Кричите, божественная... Я ведь одно предписание имею, так что... А, я смотрю, вы уже догадались, побледнели, драгоценная! Оно же тут, на столе... Ну, конечно. Прочитали! Что ж, тем лучше.

– Я не понимаю, о чем вы говорите.

«Господи, ну где же Игнат, где все?»

– Понимаете, прекрасно понимаете! – Его руки были снова на ней, на шее, на плечах, везде... – Вы и ваш братец, вы оба, оба у меня! – Стиснул ее до хруста, полез – колючим мокрым ртом. – Богиня... Ну Господи, зачем я говорил вам эти вещи, я же не то, совсем не то, я другое имел сказать, я о родстве душ, о понятии друг друга... Не было же понятия меня никем, родители меня бросили, народ – варвары, степь дикая... Ну не хмурьте губки! Уже я и руки на себя наложить думал, а тут вы – звездочка, как вчера на меня глянули, так как будто целиком и поняли, со всеми струнами! Ну не воротитесь, ну губки, ну... вот...

Она изогнулась и схватила ключ, но Пукирев еще крепко его держал и потянул к себе Вареньку...

Резкий удар свалил градоначальника.

Задрав глаза, Пукирев увидел стоящего над собой Маринелли.

– Вы?!

Алексис молчал.

Игнат неся по коридору, останавливаясь, дергая за ручки.

Возле одной застыл – в щели мелькнул свет, голоса: «Как вы посмели, она моя жена!» – «А я вас спрашиваю, как вы оказались здесь, в моем кабинете? Вы, стало быть, забрались сюда и шпионили!» – «Какая вам разница! Как вы смели прикасаться к моей жене?» – «Где же она ваша жена! Жены по домам сидят, а не с театрами, стало быть, она не ваша! Я уже не говорю... я уже молчу о том, что вы написали на днях моей жене!» – «Вашей жене?...» – «Да замолчите вы... Воды...»

– Варвара Петровна! – Игнат заколотил в дверь. – Варвара Петровна!

Комната замолкла; в замочной скважине щелкнуло. Из двери, едва не сбив Игната, вылетел Пукирев.

– Вы за это ответите, Маринелли! – И загрохотал сапогами прочь.

Игнат вбежал, на полу белела Варенька. Путь преградил какой-то мужчина, глаза навывкате.

– Вы – кто?!

Игнат замер, сглотнул:

– Игнат!

– Какой еще Игнат? Отвечайте!

– Там... там Варвару Петровну уже ждут все. Уже начинать надо. Публика ждет-с! – Игнат пытался прорваться к Вареньке.

– Подождет! Поди, скажи там, что она больна и не будет им играть! Что встал, болван?! Пошел вон отсюда!

– Игната... – Варенька пыталась подняться. – Не обращай на него внимания, это мой муж. Я *буду* играть. Дай руку!

Игнат бросился к ней. Помог встать, она полубоялась его – слабая, как сон.

– А... – Маринелли наблюдал, скверно улыбаясь. – Еще один! Ты и с ним... успела? И с ним тоже?!

– Идем, Игната... Идем, друг мой. Не кричите, Алексис! Вы все время были здесь, в комнате? За портьерой? Видели, как я переодеваюсь, как вошел этот мерзавец? Вы все это видели и даже не пошевелились, чтобы прийти на помощь! И после этого всего вы... Идем, Игната, уже поздно. Идем, спаситель мой!

В коридоре тотчас же отлепилась от Игната – пошла сама, пошатываясь. Попытался ее поддержать – мягко отвергла:

– Довольно...

– Я хотел увидеть твоё падение! – кричал вслед Маринелли. – Твое полное падение... Ты всегда растаптывала меня, презирала меня, но на мою улицу тоже пришел праздник! Ты сломала мою жизнь!

В глазах колотилась кровь, комната плыла. Вспомнил солдатское мясо под розгами. Почему он не вышел из-за портьеры раньше? Он не мог. Не хватило чего-то, всегда чего-то не хватало. Силы, власти... Почему он не вышел раньше?

Еще раз нащупал револьвер в кармане.

Железо пьяняще холодило пальцы.

В проем двери заглянуло овечье лицо в чепце.

– Кто здесь есть?

Увидев Маринелли, градоначальница озабилась:

– Алексис?! Что вы тут делаете? Ожидали меня? Признайтесь, вы что-то задумали!

В последнем письме она звала его в Андалусию.

Сцена являла собою Лондон; этот Лондон состоял из одной башни, изображенной без особого уважения к законам перспективы. Заиграла музыка, выбежал Ричард Глостер – встал так, чтобы был лучше виден его горб – горб и вправду был хорош.

Нас ныне разбудило солнце Йорка
От зимней спячки на пиры Весны!

Затем Ричард сообщал о своих мрачных замыслах, временами справляясь взглядом у суфлерской будки, будка звучно подсказывала:

Напраслиною я о вещих снах,
О мнимых предсказаниях и ложью
Меж Королем и Кларенсом посеял

Смертельную вражду!

Публика млела, Казадупов жмурился и пил амброзию. Ричард договорил монолог; гуськом потянулись придворные, вышел арестованный Кларенс, икавший между репликами; наконец заиграла чувствительная музыка, явился гроб, а следом и Анна Грей.

Варенька вышла, оправила неловкое платье.

Зал расплылся – словно вдруг между нею и залом поместили стекло. Публика – дышит в него с той стороны, стекло запотело, зрительские глаза – сквозь пар. Для чего она теперь вышла? Оплакивать. Оплакивать – ремесло женщины; мужчины не умеют пристойно плакать, не учат их этому с детства. Вспомнила дебют, в «Синичкине». Выпустили на сцену чудом, роль овладела ею, как огонь хворостом, она не помнила, что говорила, что пела, расплавленное стекло качалось между нею и залом. Потом ее пришибло аплодисментами, чуть не сбило с ног; это было лето, она мерзла, в груди еще гуляло молоко.

Ионушка, Ионушка, где ты?

Браво! Истинно прекрасно!
Вы актриса – бриллиант
Признаем единогласно
Превосходный ваш талант.

Этот гадкий куплетик прыгал потом блохою в голове всю ночь. Она была счастлива. Погоня исчезла, небо послало ей Игната – верного Личарду; после кислого монастырского житья она наслаждалась музыкой и дыханьем зрительного зала. От бокала вина застучало в висках; Варенька свернулась калачиком на засаленной канاپешке и почувствовала себя дурным ребенком, объевшимся марципана. «Не подходи. Я – вакханка». Игнат понимающе вздохнул. Потом опьянение сошло, надавила тоска, сквозь сон показалось, что заплакал Ионушка...

Николенька сбежал с пригорка и замер, прислушиваясь. Погони вроде не было; до Гарема недалеко; Николенька понесся туда. Город уже скатывался в сон, прятался, улицы пусты, только две-три собаки обстреляли его лаем.

Лишь у поворота на Оренбургскую Николенька замер и слился со стеной – мимо пронеслось три всадника киргизского вида, за ними бежали несколько солдат.

– Стой! Крикни по-ихнему, не понимают ведь... Тухтá, тухтá!

Защелкали выстрелы, лошадь под одним упала, всадник слетел, остальные скакали в сторону дома градоначальника, желтевшего окнами вдали.

Николенька слышал, как догонявшие кричали друг на друга, выясняя, кто пропустил, как такое случилось и нужно ли поднимать гарнизон. У самого дома тоже слышались выстрелы; Николенька бросился туда, едва не споткнувшись о лежавшего в луже киргизца: киргизец улыбался – он был уже мертв...

Дело шло к развязке. Лорд Дерби тряс перед Ричардом отрубленной головой лорда Гастингса; дамы в зале прятались в веера. Ричард злился, путал слова, пару раз рассеянно назвал лорда Бэкингема «Степашей»; выхватил отрубленную голову и запустил ею в суфлерскую будку – откуда, к восторгу публики, она через секунду вылетела обратно.

Шум снаружи, крики.

Публика поднялась, Ричард застыл с отрубленной головой. Дверь распахнулась, толпа внеслась в зал – два азиата; один отбивался, крича, и при этом проталкивал вперед второго, с обмотанным лицом. «Это от бека Темира, говорят, от бека Темира срочно!»

Толпа отхлынула – один из тех двоих, темный, усмехнулся, подошел ко второму, разрубил веревку за спиной – руки его до того были связаны; сдернул платок с лица.

Это был остаток человеческого лица – с обрубленным носом, с отсеченными губами.

– Теперь покажи им свое второе лицо, которое тебе сделал бек Темир! – неожиданно по-русски произнес первый.

Безносый поднял левую руку и с трудом раскрыл ладонь.

На эту ладонь были пришиты отрезанный нос и губы, так что казалось – на ней и вправду выросло лицо. Еще показалось, что с ладони глянули на окаменевшую публику два глаза (хотя глаз на ладони не было...).

Новоюртинск, 23 марта 1851 года

Темир шел на Новоюртинск – неизвестно откуда, из пустоты. Следовало слать за подкреплением в Оренбург, но Пукирев заперся и всю ночь повышал свою боеготовность каким-то бальзамом – и выполз под утро уже совершенно набальзамированным. Освежившись благами рассолом, добрался до своего кабинета, где его ожидала еще одна кара: в позе самоубийцы валялся Алексей Маринелли. Несчастный был жив – стрелял в сердце, попал отчего-то в ногу, потерял сознание и загадил ковер кровью. В гошпитале его оглядел Казадулов. «Кость целая, до свадьбы – заживет», – сообщил он супруге градоначальника, которая из видов милосердия сопровождала Маринелли. Маринелли повторял в бреду имя Вареньки, чем огорчал градоначальницу, желавшую, видимо, чтобы он бредил чем-нибудь более для нее приятным.

О Николеньке забыли. Доложили, что бежал с гауптвахты, но Пукирев, болтая каплею рассола на губе, только махнул рукой. Николенька успел повидаться в поднявшейся суматохе с Варенькой. Свидание было быстрым, нечленораздельным – просто обрушились друг в друга; разлепились – мокрыми насквозь; оба начинали говорить одновременно и разом переставали. «Как ты возмужал, братец», – всхлипывала Варенька. Они стояли за занавесом; над ними чернела лондонская башня – зал уже опустел, «Ричарда» не доиграли, Добро так и не успело восторжествовать.

Вареньку уже несколько раз звали, приходил Игнат (познакомились), выглянул сам Алексей Яковлевич (тоже познакомились). «Хорошо, иду!» Обещала вернуться. Он остался ждать; ждать становилось опасно – могли схватить: бежал из-под ареста все-таки; выпорхнула Варенька: «Завтра... завтра...» – «Да когда же?» – «Утром... как-нибудь!» (То, что предписано ее арестовать, не сказала: в слова не легло.) Николенька выбежал коридорами на улицу; в небе горела луна, сердце билось в горле. Бросился в гошпиталь, к Павлушке, – не допустили: «Тяжел, тяжел он! – шептал Казадулов, прикрывая свечу от сквозняка. – Завтра!» Внезапно подобрел: «Да куда в ночь идете, в такое время?.. Оставайтесь уж тут!» Явилась баба, внесла зеленоватую картошку. «Эх, молодость», – говорил Казадулов, глядя на жующего Николеньку. Николенька дожевдал, запил водой и отвалился на лежанку.

Утром – Варенька!

В дорожном наряде, склонилась, слеза на реснице горит.

– Все утро тебя проискала, братец. Уезжаем мы.

– Что? Зачем?

– Смешной какой. Надо так. Ты же видел вчера. До войны успеть надо, потом не вырвемся. У нас еще в Форте Перовском два водевиля.

– Водевиля...

– Не обижайся, братец!

Посмотрела на Николеньку. Сказать, что сама бежит от Пукирева, от Маринелли, от всего? Бежать – так сейчас, пока вокруг суматоха и не до нее.

Потребовала:

– Улыбнись.

Он сидел, замкнув лицо ладонями.

– Улыбнись же!

Он попробовал.

– Так я и не увидел тебя на сцене.

Обняла, слеза смазалась о его щеку.

– Варвара Петровна! – крикнули с улицы.

– Другой раз, Николенька. Другой раз приеду, увидишь меня и на сцене. Может, на обратном пути. Нарочно для тебя на сцену выйду. А может... А может, помилование тебе выйдет. И тогда – в Петербурге, все вместе, ты, я, Маменька, все. Левушку разыщу, Иону заберу. Все вместе будем!

С улицы снова кликнули, в оконце глянул лошадиный глаз. Повозка ждала. Варенька поднялась, взмахнув платком.

– Я провожу! – Он натягивал на себя шинельку.

– Не надо, не надо, – шептала Варенька и ждала его, бестолково кружившего по избе.

«Скворец, – глядела сквозь новые слезы. – Скворец...»

Николенька поздоровался с рябым парнем – глянул на Вареньку: кто? «Игнат!» – шепнула; ну да, вчера познакомились...

– Берегите Варвару Петровну, – сказал ему Николенька, ревниво блеснув из-под ресниц.

– Не извольте беспокоиться. Сбережем-с!

Актеры уже сидели по повозкам; зевали, кто-то дремал. Место для Николеньки нашлось только рядом с Игнатом, на реквизите. Варенька упорхнула в передний возок, откуда ей махало несколько рук.

Зачавкала земля под колесами, забренчала гитара.

– Думали неделю здесь спектакли давать, а вон как получилось! – покачивался на мешках Игнат. – Фортуна!

Приближались к воротам. За возками бежали мальчишки; хрипло лаяли шавки, прощаясь на свой манер с театром.

– Что это у вас тут в мешке круглое? – спросил Николенька.

– Головы. Опять вчера одну чуть не стянули. Говорю им: они ж не настоящие, восковые! А они мне: понимаем! И снова, только успевай за руку ловить!

Прощание было быстрым. Дул ветер, они стояли за городскими воротами. С возков смотрели на них. Кто-то бередил гитару. Игнат волновался и ковырял в зубах.

– Я тебе напишу, – повторяла Варенька. – Знаешь, мне письмом даже легче высказать. Я в театре уже и отучилась по-человечески говорить, все – ролями... А знаешь, вчера, несмотря на сорванный спектакль, мне два букетика прислали.

– Варвара Петровна, мамочка, едем! – крикнули с возков. – Сами же нас торопили!

Варенька обняла его.

– И Маменьке напиши! – быстро прижалась к его плечу. – Тревожно мне что-то.

– Напишу.

Выскользнула – к повозке, не оборачиваясь. Театр заскрипел и двинулся; ветер надувал холст повозок. С последней помахал Игнат.

Николенька махнул в ответ.

Постоял.

И бросился в крепость – забраться на вал, оттуда степь – как на ладони; пока они будут огибать холм, он сможет наблюдать за ними.

В воротах столкнулся с конным отрядом. Замер, ожидая для себя неприятность – за бегство с гауптвахты. Но отряд пронесся мимо, гулко процокав под въездной аркою. «Странно...» Николенька побежал вверх на вал.

На валу стояло двое солдат; одного, Грушцова, Николенька знал.

Возки уже обогнули холм.

Тяжело дыша, Николенька вгляделся в степь.

С холма наперерез вынесся тот самый отряд, встреченный под аркою.

Возки стали; те, на конях, окружили возок, где была Варенька.

Николенька видел, как она медленно вышла, как выскочил антрепренер. Из другого возка тащили Игната. Один из конных подъехал к Вареньке, спрыгнул с коня и схватил ее за руку.

Николенька собрался бежать вниз, но тут новое обстоятельство остановило его.

На краю степи потемнело, стали видны всадники – целый отряд, два отряда, три, – летевшие под темным знаменем.

С другой стороны холма их не видели; там шло выяснение, двое держали вырывавшегося Игната; Варенька стояла, взмахивая рукой, что-то говоря. Один из офицеров, не слезая с лошади, достал какую-то бумагу.

Конная лавина приближалась; уже в крепости ее заметили и засуетились, затопали сапогами. За спиной задышал Грушцов:

– Господи...

– В воздух стреляй, в воздух! Чтобы они заметили! – крикнул Николенька.

Грушцов замешкался. Николенька, выхватив у него ружье, сам выстрелил вверх.

Те, внизу, – услышали. Дернулись лошади. Еще сильнее сжались актеры.

– Это что за шутки? – нахмурился один из офицеров.

– Какой-то солдат на валу... стреляет вверх!

– Что за шутки?

Другой, на лошади, глянул в бинокль:

– Это Триарский. Брат ее. Черт! Давайте тоже его припугнем... В воздух, а если не поймет...

– Что?! Какой – воздух? Снимите его, пока он нас всех не перестрелял!

– Не смейте, слышите! – Варенька бросилась к прицелившемуся всаднику и повисла у него на руке. – Стойте!

– Да отцепитесь... – Он пытался скинуть Вареньку. – Да уберите ее кто-нибудь!

Наконец отшвырнул – Варенька упала, кто-то из актеров бросился поднимать ее.

Тот, на лошади, потирая руку, на которой висла Варенька, снова прицелился к Николеньке.

Резкий звук вспорол воздух. Всадник дернулся и свалился вниз, выронив ружье. Заржали лошади. Прозвенело еще несколько пуль. Из-за холма, поднимая тучи, неслась лавина; черное знамя с луной качалось над ней.

– Нет... – прошептала Варенька. – Нет!

Новоюртинск, 20 апреля 1851 года

– Вот и вам Бог судил стать моим пациентом, – говорил Казадунов, обрабатывая Николенькину руку. – Ну до свадьбы заживет... А теперь руку повернем... Да не убивайтесь вы о сестрице, может, еще отыщется! Берите пример с Алексея Карлыча: она ему жена, и то так о ней не переживает.

– Казадунов! – сверкнул со своего лежака Маринелли.

– Ну я Казадунов. И отец мой был Казадунов. Что ж делать, раз фамилия такая? Удаться прикажете?

Нарисовал пальцем вокруг шеи веревку, высунул желтоватый язык.

– Ну, например, удавлюсь. И что скажут газеты? «Повесился от собственной фамилии». Прекрасно... Так, еще руку поднимем, хорошо... А с другой стороны, «Казадупов» – понятная русская фамилия, без всяких итальянских выдумок... И коза – животное популярное, и дуб – тоже русское дерево, отчасти богатырское...

После осады фельдшер сделался многословен. Была ли причиной перегруженность лазарета, круглосуточные стоны и опасность гибели – трудно сказать. Или на Казадупове отразилась безвременная смерть Павлушки?

Умер Павлушка быстро и аккуратно, в самый разгар осады. Николенька забежал в госпиталь по поводу раненой руки; Казадупов высунулся в окно, блеснул на солнце табакеркой: «Волохов отходит!» Николенька, придавленный новостью, замер. «Что стоишь? – раздудся Казадупов, выпучивая небритую щеку. – Тебя зовет!»

Над Павлушкиным лежаком сидел отец Геннадий. Отец Геннадий кивнул, спросил о ремонте храма и ушел, раскачиваясь широким телом.

– Хорошо, что пришел.

Павлушка пошевелил рукой под наброшенной шинелью, приглашая сесть. Павлушкины губы были похожи на свечной нагар, он уже с трудом пользовался ими.

– Я вот что хотел тебе сказать...

Николенька склонился над лежаком.

– Вот две звезды. Одна – дар власти, другая – дар слова. А третья звезда – врачевания, не здесь она... Сейчас не скажу – где: серый волк у ворот меня стережет.

– Он бредит! – вырос над лежаком Казадупов.

– Серый волк за горой, – Павлушка моргнул на фельдшера.

– Я не волк, я сколько раз тебе жизнь спасал!

– Ты мне, как волк, жизнь спасал, – поправил его Павлушка и отвернулся.

Больше не поворачивался.

К апрелю осада была снята, степь очищена. Войско Темира отхлынуло и растворилось. Подошедшие с Оренбурга части только постреляли для приличия в горизонт – и все. Остатки Лунного Войска еще удерживали несколько кокандских крепостей, но и там кокандцы уже вели осаду. Куда девались сам Темир и его правая рука, безумный Англичанин, было неясно. За их головы было назначено вознаграждение, но доставлять эти предметы никто не торопился. «Так вот всегда, – говорил Казадупов, назначивший себя пифией по части военных событий. – Образуется в степи людской сгусток и, пока не встречает преграды, катится и нарастает. Все, что в степи в рассеянном виде содержалось, кочевало и мирно щипало травку, собирается теперь этим комом. А встретит где препятствие – снова в песок рассыпается. Это в Европе война – дело техническое, а здесь она – природное явление, по законам простейшей физики...»

Едва осада была снята, Николенька бросился туда, где последний раз видел Вареньку. Идти было недалеко, но рана вдруг раскровилась, в голове стучало, сапоги стали свинцовыми. В степи темнели еще не убранные тела; низко плыли птицы; одна прошумела рядом, едва не задев крылом, и укаркала дальше. Двигался похоронный отряд с крюками, из него глянуло усталое лицо Грушцова и кивнуло Николеньке. Наконец он обогнул холм и добрался до места. Похоронщики сюда еще не дошли: несколько разложившихся тел лежало в беспорядке; с одного тяжело поднялся ворон. Николенька увидел лежавшего на спине офицера – того самого, в руку которого вцепилась тогда Варенька. Еще двух офицеров. Разломанный возок – остальные, видимо, угнали, вместе с лошадьми. Ветер раздувал парусину; мертвый кучер застыл с вожжами. Обезглавленное тело Игната; вокруг него валялись головы из рекви-

зитного мешка. Чуть дальше – обрывки материи. Обрывки того платка, в который куталась Варенька в то самое утро. Степь качнулась и поплыла в Николенькиных глазах.

Потерявшего сознание, его обнаружил похоронный отряд, принял за мертвого и поволок в телегу. Но подбежал Грушцов, видевший Николеньку живым; тогда разглядели, что труп дышит и к погребению негоден. Его доставили в гошпиталь, где пьяненький Казадупов как раз читал раненым монолог Ричарда.

На следующий день Николенька после обеда сбежал из гошпиталя. Держась за больную руку, добрался через Кара-Базар до штаба. Там его поздравили с производством в прапорщики и согласились выслушать. Кроме новоюртинцев, которых Николенька знал и на которых не сильно надеялся, было еще несколько свежих лиц, прибывших из Оренбурга.

– Нужно, пока здесь войска, ударить по степи! – убеждал Николенька. – Они не могли далеко уйти! И потом, они увели пленных! Русских пленных!

Закашлялся, ему дали воды.

Его спросили, каких пленных он имеет в виду. Театр?

Слово «театр» было произнесено с особым выражением.

– Если вы... кхе... имеете в виду театр, то их, увы, уже не отобьешь. Мы тоже думали, что их все еще держат где-то как заложников. Однако, по сведениям от верных киргизцев, почти всех пленных уже успели продать в рабство.

– В рабство? – Николенька поднял воспаленные глаза.

– В рабство, в рабство. Темиру нужны деньги, а за русских в Бухаре и Коканде всегда давали хорошую цену. Да, есть соглашения между нами и этими азиатскими владениями о том, что они будут воздерживаться от приобретения русских рабов. Но в этой части света международные договоры понимают по-своему, в зависимости от текущих выгод. По нашим сведениям, в Хивинском и Бухарском ханствах в рабстве находится несколько тысяч русских. Ежегодно нам удастся освободить несколько человек... Поймите, русские рабы для тамошних властителей – своего рода политический торг, хотя в тех краях все оказывается предметом торга... Но что прикажете делать? Наши возможности ограничены. Это слабые, но все же независимые от нас государства, суверенность которых мы должны хотя бы внешне уважать. Если мы начнем диктовать им, они завтра же переметнутся к англичанам, которые только того и ждут. Здесь должна быть постепенная восточная дипломатия... К тому же далеко не все русские, пребывающие там, желали бы вернуться. Некоторые имеют там разные должности, почести и награды, что, как вы понимаете, их вряд ли будет ожидать в России.

Николенька вертел в руке стакан; за столом – продолжали:

– Да, конечно, мы могли бы сделать больше. Но, знаете... Пусть многие оказались там и не по своей воле, но есть и те... Да, скажем прямо, есть и те, которые сознательно предпочли это рабство. Беглые крестьяне, дезертиры, сектанты – они вряд ли попали туда случайно. Кстати, театр, о котором вы твердите, он, как вам известно, тоже находился под подозрением. Под большим подозрением. И еще надлежит выяснить, с какой целью он оказался в крепости накануне набега... Спокойнее, спокойнее, Николай Петрович, мы понимаем ваши чувства... Не отчаивайтесь. Через неделю выходит караван в Бухару. С ним отправится наш агент, которому поручено разузнать, что случилось с актерами, и по возможности вернуть этих путешественников на родину. То же будет сказано кокандскому и хивинскому караванам. Наберитесь терпения и ожидайте. Возможно, уже через два месяца мы будем располагать точными сведениями. Ожидайте...

И Николенька стал ожидать.

Рука неохотно заживала; жизнь сделалась полой и бессмысленной. Вселился в избу у вдовы солдатки. Изба была на окраине, рядом тянулась мелкая река. В избе не было ни единого окна наружу ради опасения от грабителей; на тот же предмет имелся пес Шайтан, негостепри-

имно облаивший Николеньку. Изнутри стены были смазаны глиной; на одной висела картинка «Баба-яга скачет на битву с Крокодилом»; Николенька стал разглядывать ее. Уловил боковым зрением в окне девичье лицо – лицо хмыкнуло и пропало в полуденном солнце. Николенька прошелся по избе, приучая глаза к новому месту.

Вечером пошел в город. Деревья успели зазеленеть и слегка припудриться пылью. Следы осады стерлись; мелкая мирная жизнь текла по улицам, толпясь, приторговывая, поплеывая, луща семечки; ветер играл лузгой и пылью. Николенька прошел мимо церкви – на нее навели леса, но строительной жизни в них не чувствовалось: на крестах отдыхали, лениво покаркивая, вороны.

«Отчего мне так пусто, такой тяжелый простор внутри меня? Прежде думал я об архитектуре, о социализме, имел идеалы. Читал Фурье, ходил на пятницы, пил чай с мыслящими людьми... Любил лето, выезд на природу, где, как кончится город, вдруг начинается Россия, травяное тепло с огнями росы, с великанской травой, в которой сладко бродить, а лучше упасть в нее на спину, подставив лицо синеве. Сколько альбомов изрисовал я тогда, сколько книг перечитал, споров переспорил. Теперь от всего осталась одна внешняя скорлупа. Эта скорлупа, а не я, – ходит, говорит, производит движения. Словно Мировой Дух, поигравшись со мной, забыл меня здесь, как дети забывают на скамьях своих солдатиков. Вот уже больше года я в этих песках; а что я сделал? Что совершил? Мелкую инженерную работенку по церкви, да еще оборонял эту ненавистную крепость – сто раз желая ей быть стертой с лица земли... Впрочем, нет здесь у земли никакого лица, либо это лицо до того плоское и лишенное всякой географической мимики, что...»

На этом «что» Николенька запнулся.

Сквозь сумерки, пыль и взметенную лузгу – глянул на Николеньку весенний Петербург. Звонким, разбегающимся от самого себя, в спицах захлебывающихся колес. В нем, в Петербурге, радостно таяли сугробы, выбрасывая ручьи; шлепали по ним копытцами горожане и шурились от солнышка. Вот Николенька идет с другом; оба уже отравлены весной. Воздух кипит от движения молодых ладоней; идут по набережной, и экипажи обдают их талою манкой. Вот задышало рядом Троице-Сергиево подворье, раздражавшее Николеньку нахрапистой своей стилизацией. Или вот дворец Белосельских, в барочном духе, в солнечных вспыхах на свежей покраске. Однако Николеньке сейчас не до разглядывания. Втиснут в дискуссию и только краем глаза посматривает на бесчинства эклектики. А Николенькин собеседник разрастается рядом и посверкивает умным глазом. Постепенно кристаллизуется лицо: Ханьков, завсегдатай пятниц, агитатор и умница. Бывший своекоштный студент, вычеркнутый за идеи, ныне приват-слушатель Восточного отделения, языки тарабарские грызет, в свободное время – Фурье. И Ханьков втрамбовывает в Николеньку агитацию; и все летит на шинель талая размазня. Разговор сгущается, обрастая звуками, острясь почками тезисов, готовых затопить небо нежно-зеленой мыслью. «Человек, – ветвится Ханьков, – человек есть прежде всего работник, ему от природы даны ум и страсти, руки с мускулами и тонкие пальцы... Из взаимного проникновения разума и индустрии выйдет новый человек, новое вожденное начало, на котором построится человечество. В сериарном законе Фурье имеются все средства для восстановления натуральной связи индустрий у различных народов, связей страстных, которые в своем стройном полете явят нового, гармоничного человека, свободного от неудобств рабства...» А Николенька – воздух весенний в грудь – оппонирует, то есть сворачивает на архитектуру... И город дышит между ними, лезет в небо шпиками, треуголится фронтонами, зябнет кариатидами. И будущее близко, как противоположный брег Невы, и такое же недоступное, поскольку пошел лед; Николенька кусает грошовой мороженый и рассуждает о будущем, пуская остуженным ртом пар...

Петербург исчез.

Перед Николенькой стоял нищий, выросший словно из стены. Он протягивал руку, а другую – растопырил ладонью. На ладони болталось что-то сгнившее. Несмотря на киргизский вид, просил он по-русски, выкликая обрезанным ртом: «Дай, дай, дай!..»

Санкт-Петербург, 1 июля 1851 года

Маменька наблюдала, как прислуга перекладывает вещи лавандовым мылом и мешочками с табаком. Раз в год она устраивала смотр сундуков и гардеробов. Все доставалось и просушивалось на эфемерном петербургском солнце; платья, отставшие от моды лет на двадцать; ленты, чепцы, кружева, материи цвета *a la giraffe* и цвета «райской птички». Вещи сушились, перекладывались табаком, разглядывались; про каждую вещь вспоминалась своя история. Маменька любила вещи за воспоминания, которые с годами накапливались в них – вместе с пылью, личинками моли и запахом лаванды и табака.

В этот раз среди вещей нашлась детская Николенькина курточка.

Маменька прижала ее к себе; даже кликнула мужа и спросила, помнит ли он, старый эгоист, эту курточку. Петр Фомич вяло подтвердил, что помнит, – ну да и соврал: разве умеют мужчины помнить такие вещи? Впечатления семейной жизни не оставляют в их голове следа; для этого нужна восковая память женщины. Этот воск запечатлевает на себе все: и родовые муки, и сладкий запах детской, и звуки фортепиано, и пыль на его крышке, на которой Варенька походя нарисует пальчиком сердечко. Только женщина способна сберечь в памяти эти мелочи, и если бы из мира исчезли женщины, то исчезли бы мелочи, а остались одни холодные глыбы.

Она повертела курточку в руках. Николеньке было лет семь, они только перебрались в Питер, сырой, безумно дорогой, а Николенька еще и прихворнул, потекло из носика, а врач, молодой еще Петр Людвигович, прописал полоскать горлышко соленой водой – трижды в день. Этот Петр Людвигович тогда, кажется, и сообщил о смерти сочинителя Пушкина, с опусами которого Маменька была знакома как просвещенная дочь своего века: помнила отрывки из «Руслана» – они обещали сочинителю большое имя; и вот ранняя смерть похитила с ним надежды, а тут еще вдобавок у Николеньки жар, и все так дорого. И тогда, огорченная Николенькиной болезнью и смертью Пушкина, она выехала прогуляться по лавкам, достигла самого Невского, поразила иллюминацией и оказалась в лавке детских платьев, полной соблазнов для бедного материнского сердца. Разглядывая шапочки и полты, она забыла о гибели Пушкина и погрузилась в арифметику. По правде сказать, до этого замышляла купить нечто для себя, поскольку становилась петербургской дамой; даже присмотрела уже недорогую нежнейшую шаль; но шаль была теперь забыта ради курточки. Дома ее жертва, как всегда, оказалась неоцененной; муж завесился газетой, Николенька был еще в лихорадке. «Вот, купила Николеньке обновку, – сказала няне, дремавшей подле Николеньки. – Хотела себе шаль взять, но подумала о детях». Няня приоткрыла глаз: «Много вы о детях своих думаете, совсем их рабаю стали. Недоброе это дело. Сказано, не сотвори себе кумира, а у вас, что ни дитё, то кумир. Отнесите лучше в лавку, а половину денег нищим раздайте». В лавку она не отнесла, а курточка послужила и Николеньке, и Ильюше, и Висяше; и думала, еще внук Левушка в ней побеждает. А слова няни на воске отпечатались, часто вспоминать их стала. Может, так и надо было тогда поступить, по ее словам? Отнести – и нищим? Только вспомнит, как Николенька в этой курточке вокруг бегал или сидел, каляки свои рисовал, и – нет, не жалеет!

Маменька еще раз погладила курточку: «Ах Николенька, опять ты запачкался! И рукав погляди как обтрепал... Ну ладно, не скажу, не скажу Папеньке, но впредь будь благоразумней».

«Мы бессмертны, пока нас любят», – вспомнила она афоризм, выписанный когда-то в ее альбом (где теперь этот альбом?..). Саму ее никто не любил: ни родители, только и ждавшие, как сбыть ее замуж; ни муж, от которого она видела один лед. Даже в молодости чув-

ствовала себя не только не бессмертной, но какой-то преждевременно обветшалою: словно ее, как нелюбимую вещь, засунули в комод и заткнули рот лавандовым мылом. Но она – из этого комода, из темной норы быта, – любила; даже мужа любила и старалась думать о нем только светлое. И детей любила, и не столько сердцем, сколько животом, прижимала их – к животу, пока те были маленькие, и чувствовала, как ее тепло идет к ним. А тепло – и есть Любовь; само Бессмертие казалось ей теплым, слегка выпуклым, как живот ее в апофеозе чадородия, и пахнувшим чередою, которой она ополаскивалась при купании. И даже теперь, в старости, она думала и любила одним животом; любила жадно, одышливо, слезно. И, пока будет жива, будет любить; а пока будет любить, будут бессмертны Николенька и Варенька; будет отодвигать от них болезни, отклонять летящие пули, согревать куриным своим теплом...

Петергоф сиял; хлестали фонтаны, щекоча гостей водяною пылью; гремели оркестры. Вина текли рекою, соперничавшей с петергофским каналом. Всюду были войска, гости, послы мировых держав; журчала французская речь, перемежаясь с французскими винами; звенело столовое серебро. Шесть тысяч экипажей, тридцать тысяч пеших прибыли в Петергоф; наладили костры и уселись ждать иллюминации.

Как обычно в этот день, праздновали день рождения Императрицы. Государь любил свою жену, любил свой Народ; Он хотел, чтобы Народ видел, как Он любит свою жену.

Впрочем, нынешний праздник был не так пышен.

В мягком воздухе, посеребренном фонтанною пылью, чувствовалось приближение войны.

Царь заметил в толпе французского посла, пронзил его свинцовым взглядом. Тот вздрогнул, оглянулся. Увидел Его, завертелся, бровки подпрыгнули... Государь успокоил его улыбкой. Многозначительной улыбкой – чтобы не сильно успокаивался.

Посмотрел на Императрицу. Она улыбалась. Как она изменилась за эти тридцать лет! Ненавидит свой день рожденья; завтра будет спасаться в своем Коттедже. Среди чопорных интерьеров, утешавших ее. Игры с внуками, уход за цветами, взгляд в пустоту.

Тридцать лет назад.

Только тогда была зима, мягкая немецкая зима, украшенная мягким кондитерским снегом. Их свадебное путешествие, Он – еще Великий Князь. Ради их приезда при берлинском дворе затеяли Литературный бал. В арабском вкусе, Восток был тогда в моде. Живые картины из «Лаллы Рук». Восточная повесть, ловко написанная каким-то англичанином. Бухарский хан Абдулла женит своего сына, Алириса, на дочери царя Индии. Лалла Рук, «тюльпанощекая». Так ему объяснили. Щеки Великой княгини и вправду пылали тюльпанами в ту берлинскую зиму. Литератор Жуковский, увидев ее на балу в образе Лаллы Рук, назвал «Гением чистой красоты». *Ах, не с нами обитает гений чистой красоты.* Ее учитель русского языка, сам – наполовину турок. Королевский дворец, окна выходят на Люстгартен, Сад Желаний. Потом бедный идиот Фридрих-Вильгельм превратит этот сад в плац для военных маршей. Что поделывать, возможно, в его башке сад желаний, и даже райский сад должен выглядеть именно так; он заставит маршировать и ангелов. Но в ту зиму Сад Желаний, припудренный снегом, еще наполнял собой окна, в залах шли приготовления. Живые картины, тюльпанощекая Лалла Рук отправляется к своему нареченному, в далекую Бухарию. Герцог Камберлендский изображает Бухарского хана. Его супругу – стареющая княгиня Радзивилл. Сам он изображал принца Алириса. На него надели тюрбан, приклеили бородку. Настоящий Бухарский принц...

Он огляделся. Вечерело, приближалась главная часть праздника, иллюминация.

На другом конце канала возвышается пирамида с анаграммой Императрицы. Когда начнется иллюминация, анаграмма вспыхнет.

Царь! Твой благостью и силой

Знаменующийся лик
Для Твоей России милой
Любо видеть каждый миг...

Он берет ее под руку, они идут во дворец – приветствовать Народ. В этот день простой народ может войти сюда. Следом шуршит свита; толпа разлетается, чтобы сомкнуться волной позади. Иногда Он останавливается и беседует с крестьянами. Он любит беседовать с крестьянами. Любит узнавать их нужды. Его также интересует, довольны ли купцы. Он советует им честно торговать и продавать товар по христианским ценам. Он смотрит на их бороды – в бородах есть что-то спокойное, утешительное.

У Него самого борода была лишь однажды. Правда, накладная. Восточная бородка, тридцать лет назад. Он – Бухарский принц Алирис – вначале скрывался в свите Лаллы Рук под видом поэта и певца Фераморза. Всю дорогу услаждал ее своими песнями. Он пел, а она таяла от любви. Хотя и направлялась к своему жениху. Таковы женщины. Она касалась его бородки. О, Фераморз! Нет, она не должна. Ее ожидает жених, Бухарский принц. Говорят, он красив. Почему вы так улыбаетесь, Фераморз? Ах, не с нами обитает гений чистой красоты... Наконец они прибывают в Бухару, освященную чудесными лампами, увитую розами. Почему вы так бледны, моя принцесса? Вас не радует иллюминация?

Они вышли на смотровую площадку. Пробыло половина одиннадцатого.

Пора.

С волшебной быстротой загорались десятки, сотни, тысячи ламп. Толпы фонарщиков носились по петергофскому парку, зажигая, зажигая, зажигая... Публика ахала, шурила глаза, делала жесты... Лампы в форме цветов, в форме солнца, вазы, беседки из виноградных лоз,obelisks, колонн, мавританских стен – все это зажигалось за полчаса, наполняя ночь светом. Вот уже канал охвачен сиянием до самого Залива, а с Залива просияли корабли Его флота, зафыркали фейерверки и завращались шутихи. Толпа ликовала, одобрительно ворковали иностранные гости, даже Государь слегка улыбнулся, разрешил себе улыбку.

Да, Он любил эти ночные иллюминации, пусть Его недоброжелатели посмеиваются а parte. Как писал этот мерзавец Кюстин? «Деревья исчезают в убранстве бриллиантов; лампы в каждой аллее столько же, сколько листьев: это Азия, только не реальная, современная Азия, а сказочный Багдад из “Тысячи и одной ночи”».

Что ж, он почти прав, только не Багдад, а далекая таинственная Бухара, чьим принцем Он был тридцать лет назад.

«Стояла ночь, когда они добрались до Бухары, и по меньшей мере две мили они проходили под аркадами, увитыми редчайшими розами, из которых выведена Аттар Гуль, более драгоценная, чем золото, и освещенная богатыми и причудливыми лампами из панциря трехцветной черепахи Пегу... Легкое и игривое сияние озаряло поля и сады, мимо которых они проходили, образуя череду пляшущих огней вдоль горизонта...»

...Медленное, враскачку, движение арбы. Богатый груз. Хотели до сумерек в город успеть, теперь ночуй перед закрытыми воротами. Звенит сухой воздух; нагретый закатом запад постепенно остывает. Белая рабыня в возке начинает плакать, не от горя, а от одного вида этой пустой соленой земли, этого пыльного заката. Старуха рядом просыпается и начинает ругать ее: не плачь, от плача лицо портится, кто тебя купит, кто тебя такую купит, и прокаженному ты будешь не нужна... Плачущая не понимает языка, но слезы высыхают, от жары и сухости слезы высыхают быстро. Если бы на ней не было чачвана, душного, темного чачвана, то можно было бы увидеть лицо рабыни, увидеть, как гаснет закат в серых припухших глазах. Но на то и чачван, чтобы скрывать лицо, даже если ты белая рабыня и всю жизнь разгуливала с обнаженным ликом... Наругавшись, старуха засыпает. А рабыня сквозь колючий конский волос видит

вдали, в последних лучах, горбатые стены Бухары, минарет над ними, слышит долгий гнусавый призыв на намаз. И опускается на дно повозки, в пыльную тряскую темноту...

«Эти арки и фейерверки привели фрейлин Принцессы в крайнее изумление; сообразуясь со своей обычною здоровою логикой, они умозаключили из того вкуса, с которым была устроена иллюминация, что принц Бухары будет самым примерным супругом, какого только можно себе представить. Даже Лалла Рук не могла не оценить ту любезность и великолепие, с которыми приветствовал ее юный жених, но она также чувствовала, сколь болезненна благодарность к тем, чья доброта не способна вызывать нашу любовь».

Прекрасная Varbe, мать Ионы. Исчезла, развеянная сухим ветром по кайсацким степям. Он хранил медальон с ее портретом: эмаль слегка потемнела, взгляд погас, оригинал – продан в рабство. Он распорядился выяснить ее судьбу. Он примет в ней участие. Он простил ей побег из монастыря. Простил театр. Чем больше прощал, тем больше думал о ней; чем больше думал о ней – тем больше чувствовал вину перед супругой, глядевшей на Него сквозь цветы Коттеджа – с укором. Как Он объяснит ей Иону? Впрочем, Он не станет ничего ей объяснять. Народ одобрит Его; а что скажет Коттедж, Его не волнует.

Государь посмотрел на Императрицу. Она была бледна. Ее анаграмма на пирамиде все не зажигалась. Ветер рвал огни лампионов, они гасли; фонарщики взбирались туда вновь и вновь. Внезапно один из них остуился и полетел вниз. Толпа ахнула, упавшего подобрали и унесли; анаграмма так и осталась горящей наполовину. «Вряд ли этот несчастный, упав с высоты в семьдесят футов, остался жив», – подумал Государь.

– Милый друг, идемте в покои, здесь становится сыро.

Он взял ее за руку. Почувствовал, как она напряглась, как сжались пальцы.

– Прекрасный праздник, не правда ли? – спросил Он.

– Да, просто восхитительный...

Новоюртинск, 11 сентября 1851 года

Все лето ему снились сны. Снился Петербург, увиденный сверху, словно стянутый в птичий зрачок: крыши, крыши, дворы; снова крыши... Петрашевские пятницы, бородатый хозяин, видевшийся сквозь линзу сна гномом; гном потирал ладони и говорил о фаланстерах, наклонясь над чашками огромным самоварным лбом. Снилась Маменька, молодая, еще не растратившая себя на вздохи и болезни; дышала на зеркало и растирала туман краем платка. Варенька: качалась на качелях, то подлетая, то уносясь в зелень. Он пытался поймать ее, но ловил всякий раз пустоту. А Варенька все смеялась, хотя было заметно, что невесело ей и хохочет она ради кого-то третьего, который был спрятан листвою, и видна лишь темная рука, раскачивавшая качели.

А одной ночью пришел в его сон Павлушка, раздвигая загаженные мухами занавески, отделяющие избу сознания от потусторонней зябкости... Да, сознание было именно избой, в которой Николенька обитал. «Так вот оно какое, сознание, – рассуждал он. – Думал, оно похоже на фаланстер; внутри чисто и кофе подают. И мысли кругом, и бесшумные машины анализов и синтезов. А оказалось, в сознании только печь и сапоги на проходе. Для чего это? Не знаю...»

«И я не знаю, – заглянул за занавес Павлушка. Был он таким же тихим, как и при жизни; новая должность никак на нем не сказалась. – Я рассказать пришел, про звезды», – виновато усаживался он на краешек.

Говорил долго, часто скатываясь на пустые предметы. Например, что там его научили варить борщ. Или смешно рассказывал, как Казадупов хотел поймать его душу в особую мышеловку, называемую в народе душеловкой. Еще попросил ставить чаще за упокой его души свечку, так как с недавних пор полюбил запах теплого воска.

После этих снов Николенька просыпался и шел в штаб узнавать насчет каравана и Вареньки. В штабе ковыряли перьями в обмелевших от зноя чернильницах, глядели на Николеньку сквозь потный прищур, молчали. Порою к Николеньке являлся Маринелли; нога его выздоровела, он скакал, как сатир. У старухи солдатики имелись две дочери, спелые, любившие пить чай во дворе в гран-неглиже. Маринелли заарендовал себе старшую – Анетту, как он тут же стал ее называть. Хозяйка пожимала плечами: «Все равно сошлась бы со временем с батальонным писарем или унтером за два пряника, а с вами, господа, и фортель, и честь!»

Эта простая философия прошибла и Николеньку – он обратил внимание на младшую, хохотушку. И нашел в ней такую ловкость в обращении со сложными, как ему казалось, материями, что все произошло само собой. Иногда они спускались к реке, она входила в воду и звала его, голого: «Ну идите... Идите...»

И он шел.

В таких занятиях прошло лето. Осень наступила за одну ночь. Николенька проснулся и долго не вставал, привыкая к смене времени года. Позавтракав, вышел; город лежал под тучами, острова зябкого света гасли; опрокидывались и лохматились облака. Ум был ясным; раствор летней мысли схватился и уже не нуждался в опалубке.

В штабе заседала новая комиссия; сидел Казадупов и пытался поймать летавшую вокруг муху. Николенька спросил новости о Вареньке. «Никаких», – ответили ему. Казадупов поймал муху и стал предаваться невинному удовольствию – слушал, как она жужжит в его ладонях. «Вот, послушайте», – говорил он, вытягивая руки и предлагая послушать «маленький концерт».

«Избегать вы меня стали, Николай Петрович...» – начал было Казадупов, но Николенька, пробормотав что-то, вышел, оставив фельдшера с его мушиным цирком.

Вечером Маринелли целовался у него на лавке со своей Анеттой. Николенька смотрел на них сквозь частокол из бутылок и собирался прогнать. Встал, подошел к кровати, нащупал под матрацем звезды. Те самые, две, от Павлушки: знания и власти. Отлитые из серебряной вифлеемской звезды. Так Павлушка тогда сказал. Хотя по составу они не напоминали серебро. Скорее какой-то камень, вроде жемчуга. В сумерках светились.

Николенька вышел на крыльцо. Небо кипело от звезд, бурлило и брызгало ими.

Чьи-то пальцы опустились на его глаза.

– Здравствуй, Николенька.

Он узнал ее.

– Ты ведь мне не снишься?

Опустил свои ладони поверх ее.

– Ты ведь мне не снишься, скажи?

– Глупый ты, Николай Петрович, хоть и умный человек. Еще посмотреть надо, кто кому больше снится...

От нее пахло полем, сеном, и молоком, и теплой ночью, когда звезды так близко подходят к земле, что трутся лучами о крыши и черные груды деревьев.

– Зря архитектуру свою забросил. Ничего, еще вспомнишь. Тебе Павел что сказал? Бери звезды. Бери звезды, бери с собой верных людей и иди. Перейдешь степь, увидишь город, там твоя сестра, и я там тоже. Добудешь меня – твоей буду...

Он хотел спросить, откуда она знает о Павле. Но она все повторяла про город за степью-пустыней, где должна произойти их следующая встреча: «Иначе – не жди!» И вспыхивал перед глазами тополинный июнь с крылом чудища на Банковском мосту; барабанное утро на семеновском плацу; степь, вспученная от дождей, как иссеченная плетью спина; проваливаясь в глину, шла она, и лишь край платья намокал, тяжелел киргизской глиной.

Николенька открыл глаза.

Он лежал на той самой лавке, где оставил Алексиса с Анеттой, выходя во двор. Над ним склонилась младшая солдаткина дочь, хохотушка. «Страстный вы», – говорила она. И гладила его тонкие короткие волосы – жалела.

Новоюртинск, октябрь 1851 года

Дума о побеге давно зрела в новоюртинских казармах. Так что даже и агитировать не потребовалось, а что тут еще агитировать? Центробежен русский человек; вечно чувствует над собой злую власть места, к которому прикрепощен. Оттого и разбрызнулся по всему материку, ища место незлое, не ворошащее в нем углей жестокости. Оттого русская история – выплескивающая в пространства, взламывающая тюремную решетку параллелей-меридианов, чтобы – дальше, дальше, – в такие системы координат, относительно которых тело движется, как захотит левая нога и куда махнет правая рука, только бы отыскать новое место и новое небо. Новоюртинск ведь тоже поначалу казался «новым небом». Вгляделись – нет, ветхое оно: те же в нем канцелярские ангелы с огненными мечами и плетями, та же тоска в мироколице разлита и с редких облаков сеется.

А где-то недалеко – только перемахни степь-пустыню – плещет Восток. И не такой, как здесь, с подгнившими – вот-вот рухнут – минаретиками и ленивой татарвой, то вспоминающей русский язык, то забывающей, смотря по выгоде... На *том* Востоке неслыханные деревья-травы и яблони целый год обвисают плодами. И небо там теплое и сладкое, хоть запрокидывай голову и хлебай его ртом.

– Да, – соглашался Грушцов. – Наших там, говорят, тысячи, тысячи. Все рабы. А если вскрыть их гаремы, сколько, говорят, русских женщин и девушек под глухими платками сидят...

– А земли те раньше христианскими были, – вступил из угла еще один голос. – Даниил-пророк там захоронен и три волхва, которые к Христу на поклонение ходили. Там три дома и мощи их.

Шло собрание – прямо в Николенькиной избе, в табачных сумерках. Со двора гремел цепью Шайтан.

Было еще что-то, о чем здесь не говорили.

О ком молчали, осыпаясь виноватыми взглядами.

После смерти Павлушка словно рос, расширяясь в значении. Вспоминались его слова, случаи из его тихой и неторжественной жизни. Особенно горела в памяти его экзекуция; никто уже не помнил ее повода; кто-то сказал про волосы, но на неуместного шутника зашикали и даже толкнули в грудь.

Николай Триярский, как друг Павлушки, озарился этим светом: его звали, на него смотрели, от него ждали поступков. Его любили и раньше, но осторожной любовью, не без ухмылки. Теперь они вдруг распустились к нему цветами симпатии – мелкими и невзрачными, как все, что только способно расцвести под хмурым солнцем казармы.

Была еще одна причина Николенькиной славы.

Его тихое, но все более осязаемое всемогущество. Проявилось оно вдруг, без умысла. Николенька шел по Оренбургской, углубившись в шинель от ветра; сжимал одну из звезд. Вдруг – Пукирев со свитой: «Куда это вы, а?!» Вспомнился Пукиреву Николенькин побег из-под ареста (а что тот под самыми пулями всю осаду простоял – забылось); рыгнул Пукирев огнем и дымом, всю свиту к стенам прижало. Только Николенька хрустальнейше улыбнулся, и шагнул прямо под огненные языцы, и вlepил в пукиревские раздутые паруса такую пощечину, что градоначальник в лужу сел, словно для него налитую. Сидит, изо рта дымок ползет, на свиту: «Что смотрите? Не видите: поскользнулся? Сколько раз говорил здесь досок набросать, чтобы сообщение не затруднялось!» Все бросились вынимать начальство, а Николенька,

потирая ладонь, отправился дальше – чувствуя, что совершил нечто полезное. Правда, что именно – сразу же забыл, да и все забыли, и свита, и сам Саторнил Самсоныч (только во сне, в перинах, оборонял щеку и кричал: «Пожалуюсь!»). Однако что-то отложилось в головах очевидцев; начальство при виде Николеньки приторнилось улыбками, и даже Маринелли вдруг как-то особенно посмотрел на своего родственника – словно впервые увидал.

Начали замечать: вспыльчивый стал Николенька, рукастый. До рук не доходило, но жесты – словно ударить готов, и металл в голосе. Теперь почти каждый вечер шли у них сходки. Развертывались карты, выверялся путь, по которому двинется отряд. Сколько было солдат, готовых к побегу? Горстка, ничтожное число, бросавшееся в предзимнюю степь; а дальше – Николенька вел пальцем по карте – пустыни, песок. Да и слухи поднялись, что Темир, развеванный в степи, снова сгустился где-то и ждал, истекая мщением.

Однако ни малость отряда, ни разверстый зев пустыни не пугали – заговорщики верили во всемогущество Николеньки, и он в него вдруг уверовал. Только ночью вынимал звезды, глядел на их свечение и снова прятал в матрас. Дар слова, дар власти, а третья звезда – в городе с желтым куполом, туда и следовало вести отряд. Сновидения перестали теревить его; сон сделался пустым и прозрачным, как осенняя степь, в которую ему предстояло идти. А вечером снова дышал куравом сборищ и, как тогда, на Петрашевских пятницах, правда увереннее, с металлом, вставал, чтобы сказать свое слово:

– Хорошо, если вы хотите, чтобы я вел вас, я поведу. Но я бы хотел, чтобы мы поняли, для чего мы идем. Вот Павлушка... покойный Павел Антоныч говорил, что с каждым народом Бог заключает Завет, в каждом народе рождается свой Иосиф, который уводит всех в Египет, а потом является Моисей. И все народы рано или поздно входят в пору своего цветения и становятся богоизбранными, только не все это избранничество на себе чувствуют. Так и русский народ не заметил своей богоизбранности, не разглядел над собой радуги; словно глядим на все это сквозь пьяный прищур, да и молимся прежним теплым своим богам, и плывет все еще по нашим рекам Перун, ухмыляясь в серебряный ус. И еще Павел... Павлушка (именно так – Павлушка!) говорил, что были в России одни лишь Иосифы, увлекавшие народ в египетское рабство, но не было Моисея – для обратного движения. Последним Иосифом был царь Петр – вывел народ в Европу, а потом опять фараоны стали принуждать к работам «над глиною и кирпичами», то есть к строительству и архитектуре. Поскольку Египет и есть царство мертвой архитектуры и пирамид, этих треугольных гробов. Теперь настало время вернуться с Запада, то есть из Египта, который ведь находился к западу от Ханаана, земли отечественной. Так и мы возвращаемся на Восток, на Восток, может, еще более рабский, но который нам суждено преобразить, обустроить светом и воздухом, – в этом, возможно, и есть избранность наша...

Лица замерли, слушая волной идущую речь. А Николенька сам не знал, откуда эта волна: от разговоров ли с Павлушкой или от собственной его «сказки»? И отчего слушают его неподвижно, как скульптуры, – откуда эта неподвижность? Неужели – тускло светящийся дар слова, хранимый в пыльном матрасе?

– А волхвы? – спрашивает один. – Волхвы?

И тихо делается в избе; только ветер играет занавеской и качает табачные фимиамы. И вспоминается «сказка» – о том, как далеко, за синим морем, жил-был царь, и не было у него детей, и никто, ни врачи, ни шептатели, не мог царю помочь в этом. И как однажды увидел он во сне неизвестного ему царя, и тот назвался Гаспаром, или Строителем, и предрек рождение сына, но предупредил, что не будет сын этот царем. И когда луна на небе округлилась, царица почувствовала, что затяжелела. А когда зажглась на Востоке новая звезда, родился у царя сын.

– Царя звали Ирод.

Редкий для Иудеи снег выпал в ту зиму. Как пух новорожденного херувима, как манна, просыпанная по пути из Египта. И Вифлеем, земля Иудова, что ничем не меньше еси во владях Иудовых, вся присыпана снегом, пухом, манной; и от капель вздрагивают лужи, и звезд-

ное небо в лужах с горячею звездой, и легкий пар поднимается над вертепом и гаснет. И в Вифлееме все убрано огнями – к чему бы: ведь еще никто не знает о Рождестве? Должно быть, ко дню рождения щекастого римского бога, Митры, – боги не виновны, что рождаются в один и тот же день. Впрочем, нет – свет течет от новой звезды; от света ее светло на стогнах и в домах, что позволяет сэкономить на ламповом масле – опять подорожало; ох уж этот Ирод! – и так последние времена и скорый конец света, а он еще цены поднимает! А звезда висит, улицы и площади плещутся в ее сиянии, как глиняные рыбы, вроде тех, которыми торгует мальчик-сириец, расхваливая свой товар по-арамейски и по-гречески; мимо него движется караван, сползает снег с крыш; и трое волхвов с караваном. А народ счищает снег и ропщет, что хлеб стал черствей и дороже, зрелища никуда не годны, не то что при прежних властях; да вот еще и снег, с чего вдруг, а ну-ка попробуй, не манна ли? – нет, не манна... И, чавкая ногами по снежной каше, бродят иностранцы-инородцы и спрашивают на ломаном арамейском: «Где есть рож-деи-ся Царь Иу-дей-ский?» «Да как же! – отвечают горожане, – знаем-знаем, родился у нашего царя сын, наследник долгожданный...» А волхвы – не понимают, переглядываются, на звезду новейшую – зырк, и за свое: «Где есть рож-деи-ся Царь Иу-дей-ский?» И уже бегут по снежку соглядатаи во дворец Ирода: что-то опять мутят эти – с Востока! «Неужели, – думает Ирод, сцепив с хрустом пальцы. – Неужели?» И смотрит на своего сына, сопящего из кружев, с нежностью и разочарованием. Из окна остывшей залы видно движение волхвов, сонное качание тюбанов: уходят, уходят...

Уходили ночью.

Николенька помолился, завернул в полотенце свои звезды. В полтретьего постучался Грушцов. Вышли, помолчали на воздухе.

– Табачку бы, – сказал Грушцов.

– Табачок – глупость, – ответил Николенька, побуждая Грушцова ладонью к движению вниз, с пригорка.

У барачков их уже ждали, притоптывая. Подождали еще троих. Кто-то спросил, будет ли *там* хлеб. Грушцов сказал, что будет. «И табачок», – добавил. Наконец вылезли остальные трое. Их коротко, чтобы не тратить тепло изо рта, выругали.

– Ладно, идем, – обрезал Триярский, нащупывая под шинелью полотенце.

Стали спускаться. Собаки спали; часовые тоже не представляли угрозы. Один валялся пьян, из будки торчала нога. Другой был из своих: заблаговременно обезоружил себя, заткнул рот материей и связался веревкой.

Алексей Маринелли стоял на валу и следил за уходящими.

– Алексей Карлович!

Пыхтя поднимался Казадупов.

– Тише! – скривился Маринелли на грузную фельдшерскую тень. – Они ушли.

– Звезды... – задыхался Казадупов, вытирая пот. – Звезды у вас?

– Одна. Только одна.

– Где ж вторая?

– Второй не было. Я перетряхнул весь матрас.

– Чорт! Где же хотя бы та? Она при вас?

Маринелли достал – едва заметный огонек.

– Вот.

Казадупов выхватил, зажал в кулаке и тут же вьелся в лицо Маринелли, в его усмешку; разжал кулак и посмотрел на свечение.

– Вы перепутали, Алексей Карлович! Это фальшивка, которую я дал вам для подмены! Вам не удастся меня провести, ми...

Закончить не удалось.

Маринелли сбил фельдшера, сжал горло, придавил к краю стены.

Голова Казадупова с выпученными глазами зависла над пустотой.

– Я лечил вас... Мы служим оба одному...

– То, чему мы служим, больше не нуждается в ваших услугах!

Маринелли сжал пальцы на фельдшерской шее; потом резко толкнул тело; оно перева-
лилось через край и полетело вниз.

– Занавес. – Маринелли глядел на мешковатые кульбиты, пока тело не замерло внизу
насыпи.

Присел, блестя испариной.

Достал из шинели еще один светящийся комочек.

– Так, значит, дар власти...

Подбросил на ладони. Вытянул руку за край стены, еще раз подбросил – над той пустотой,
которая поглотила Казадупова.

Слегка наклонил ладонь.

Быстро сжал пальцы, спрятал свечение обратно в шинель.

Киргизская степь, 19 октября 1851 года

Николенька вздрогнул и открыл глаза.

Лагерь еще спал. Прямо на земле, покрытой чем-то белым.

– Снег... Снег!

Снежинки плавали в воздухе, ложились на затылки, сапоги, на раскинутые во сне руки.
Ранний, неслыханно ранний снег. Ставивший большую белую точку на всем их походе.

Неудачи пошли с самого начала.

Еще с той ночи, когда, отойдя от Новоюртинска, все вдруг разом бросились петь и обни-
маться. Потом стало выясняться: кто провизию не захватил, кто оружием не озаботился. Еще –
был договор с караваном, последним караваном, шедшим на Бухару; должен был выйти из
Новоюртинска в следующее утро и, встретившись с беглецами, прихватить с собой. Отряд
встал в условленном месте. Каравана не было. Простояли день, устав от вглядывания в пустоту.
Оставаться было опасно – крепость могла выслать погоню. Двинулись без каравана, по сомни-
тельным картам, на ощупь. Ясные дни сменились свинцом, с налетами ветра. Зашептались,
забормотались первые жалобы; пара-другая глаз глянула на Николеньку. Проходя ночью мимо
костра, уловил: «Вернуться... Покаяться...» Подошел к огню: «Что, вернуться хотите?» Те –
в землю, в дышащие угли: «Да нет, куда уж...» Чувствовал Николенька, что не от тягот это,
а оттого, что словно вдруг засомневались в нем, словно трещина между ними прорезалась.
То каждого его приказа ждали, тянулись – теперь сделались чужими. Правда, речи его и рас-
сказы все так же действовали, завораживая. Но на одних речах долго в степи не продержишься.
Постоял Николенька у костра, кашлянул и отошел. Нашупал обернутые в полотенце звезды.
Одна с недавних пор стала холоднее... Или нет?

За ночь степь выстыла, и вот – снег. Солдаты шевелились, потягивались, поднимали
головы.

Триарский скомандовал сбор. Его вяло слушались. Снег словно придавил всех. Словно
было: ожидание праздника, чуда, подкрепленное, как неотразимыми доводами, запахом апель-
сина, шорохом гирлянд, – и все вдруг исчезло. Распахнулось ледяное окно, расплескав тысячи
стеклянных брызг, ветер хлынул; качнулась и рухнула елка. И дети прилипли к двери, у кото-
рой подглядывали; закричала Маменька, затопала прислуга, даже Папенька пророкотал по-
французски – из гнезда своего, в кресле свитого... Но всё – умер праздник, сколько бы ни
поднимали елку, ни выпрямляли ветви. Пусто. Ледяно.

И вдруг, как всегда, без повода – заблудившимся лучом коснулось счастье. Вдрогнул Николенька от него, как от ожога. Снег горя сделался снегом радости и летел в Николенькино расцветавшее лицо. Показалось – слепой снег, в рушащихся на землю лучах. И степь, затканная светом, вскрылась до самого горизонта, где уже вспухал куполами жаркий азиатский город.

А чуть ближе, вытаптывая в снегу причудливые следы, двигался караван.

Впереди двигалось трое всадников: Гаспар-архитектор, Мельхиор-живописец и Балтасар-музыкант, за ними – остальные.

Вглядываясь, он заметил и Маменьку, одетую в восточное платье, впрочем, шедшее ей; и гордого Папеньку на верблюде. На другом верблюде раскачивался Саторнил Самсоныч, облепленный гроздьями прелестниц. Пониже, на ослике, – Казадупов, громко декламируя монолог Ричарда Третьего; бессмертные строки подхватывали актеры из повозки; с ними Игнат – руками размахивает... А вот и карета подомчалась, блеснув лаком; вышла из кареты Варенька в пышном, расплескивающемся на ветру платье; в руках чудо кружевное, Ионушка. Да и старший, Левушка, из кареты глазком выглядывает.

И весь отряд, размахивая руками, уже пристраивается за караваном. И, не чувствуя под ногами ни снега, ни твердости земной, плывут с ним сквозь степь промытую...

Обернулся Николенька и увидел, что стоят за ним все, весь отряд, и смотрят туда же, на трех всадников. Только померкло вдруг все, провалилось в снежную заверть; да всадники, заметив отряд, развернули лошадей и пустили их прямо на Николеньку. И за всадниками, в наплывах снега, пропал караван, развалился на темные, мохнатые тени и конские гривы, над которыми взметнулось знамя с желтой луной. И вся эта лавина, оскалась, хлынула на лагерь. Николенька сжал звезду власти – холодную и бесполезную...

Бой угас, черной фасолью по снегу были рассыпаны трупы. Обрывки дыма пробежали над землей и разлагались в воздухе.

– Иди, живых поищи, – сказал Темир. – Для чего мне мертвые русские? Даже мои псы не станут есть их.

Несколько меховых шапок кивнули и разбрелись на поиски.

– Странная победа, – разговаривал сам с собой Темир, вглядываясь сквозь густые, как войлок, клубы дыма. – Они дрались так, словно совсем не хотели остаться живыми. Для чего тогда они бежали к нам в степь? В степи надо вести себя по законам степи. А законы степи – это наши законы. Потому что мы – дети этой степи, у нас кожа цвета степи, гладкая и смуглая. А у *них* кожа белая, как их снег, и на ней растут волосы, как их леса. И лица у нас – широкие и плоские, как степь. А их лица – бугристые, как их земля, вся в холмах. И глаза у нас – темные, как степь, а у них – большие, светлые, из речной воды. Что им с такими глазами делать в нашей степи? Что им с такими лицами делать в нашей степи? Что им с такой кожей делать в нашей степи?

Приближались, волоча что-то, посланцы за живым мясом.

– Оты-айт! – приказал пленному Темир.

Пленный поднял лицо.

– Он нас не понимает, – сказал один из державших его.

Темир посмотрел в лицо пленного.

– В степь к нам идут, а языка степи не знают!

– Что с ним делать?

– Быз-бырлэ-олсым!

Быз бырлэ олсым! «Берем с собой». Это Темир действительно сказал. Остального не говорил. Показалось это пленному, дымом бреда пронеслось.

Через день прибыл отряд новоюртинских догоняльчиков. Осмотрев последствия битвы, сложили своих погибших в одну кучу, чтобы потом прислать подводу и наскоро, по-солдатски, похоронить.

Прапорщика Николая Триярского среди найденных не оказалось.

Санкт-Петербург, 18 февраля 1855 года

Он умирал. На простой железной кровати, укрытый простой солдатской шинелью. Врачи шептали: простуда, воспаление... Поперхнувшись латинской фразой, исчезали.

Они не понимали. Врачи никогда не понимали Его.

Его диагнозом была Россия. И умирал Он – от России.

– Ныне отпускаеши раба Твоего...

Война проиграна.

Война, на которую Он так уповал. К которой так готовился.

Английские суда стоят у Кронштадта. Французы берут Крым.

Все предали Его. И Франц-Иосиф, и даже этот олух Фридрих-Вильгельм. Не говоря о Туманном Альбионе с его туманной политикой. Все объединились, только бы не дать России выйти в Средиземное море. Бросились спасать Турцию, этого *un homme malade*, сочувствовать их султану, заигрывать с мусульманством.

Только бы не допустить нового Конгресса.

Иерусалимского конгресса, задуманного Им.

«Се, Волсви со Восток приидоша в Иерусалим, глаголюще...»

Три монарха не въедут в священный город. Город Его снов, виденный в детстве на картинах в Мальтийском зале. С желтым куполом на месте прежнего храма. Он мечтал спасти этот город. Отстроить заново храм, сделать Иерусалим священной столицей. Его предали. Волхвы не войдут в этот город. Отныне он будет игрушкой политиков-торгащей. «Горе, горе тебе, Иерусалим!»

Боль. Боль в спине. Сколько еще будет продолжаться. Кто это приближается к Его одру? Плащи, блики свечей на латах. А, мальтийские рыцари. Орден Св. Иоанна Иерусалимского. Он же сам их рыцарь, колючая мальтийская звезда в детской ладони. Последние осколки рыцарства в век торговцев и лавочников. Он не сумел отбить у сарацин священный город. Не вошел в Вифлеем, землю Иудову. Погасла серебряная звезда над яслями.

«В 8 часов 20 минут духовник протопресвитер Василий Бажанов начал читать отходную. Государь слушал внимательно слова молитвы, осеняя себя временами крестным знаменем. Когда священник благословил его и дал поцеловать крест, умирающий произнес: “Думаю, я никогда сознательно не сделал зла”».

– Думаю, я никогда сознательно не сделал зла.

Да, Он так думает. Имеет ли Он право так думать? Вы не согласны? Я обращаюсь к вам, подойдите ближе. Нет, стойте, достаточно. Ближе не надо... Веревки на ваших шеях и так хорошо видны. Темные, задохнувшиеся лица. Почему стучат барабаны. Кто велел нагнать сюда барабанщиков, Я спрашиваю. Я сожалею, господа. Господин Пестель, аудиенция закончена. Господин Рылеев... Вы сами виноваты. Между прочим, ваша «Северная Звезда» – недурной журнал. Но зачем же бунтовать, господа? Можно было обойтись одной литературой. Литературу Он не преследовал. Только воспитывал. А теперь отойдите, слышите? Он никогда сознательно не делал зла...

«Где есть рождется Царь Иудейский? Видехом бо звезду Его на Востоце и приидохом поклонитися Ему».

– Позовите ко Мне Моего сына...

Вот же он. Держит Его за руку. Наследник. Как холодно. Как тяжело пожатые каменной десницы. Сказать, чтобы помиловал тех, кто остался. Вернул из Сибири. И этих... Les

Petrachevtsy. Хотя нет, не стоит. Здания из железа и стекла. Фаланстеры. Россия в зданиях из стекла и железа. Квадратные, мрачные коробки. Он прощал заблуждения, но не мог простить безвкусицы.

Он диктует наследнику свою последнюю волю. Наследник держит Его руку, по бритым щекам текут слезы. Левая щека выбрита чуть хуже правой.

«В 10 часов Государь потерял способность речи. Но перед самой кончиной заговорил снова. Последними были слова, сказанные им Наследнику: “Держи все, держи все”, – сопровождаемые решительным жестом».

– Держи все...

Сжал руку Наследника.

И тут же разжал. Рука была чужой, маленькой и слабой. Детское испуганное лицо глядело на Него. Разумеется. Иона. Нет, Он помнил. Неоднократно справлялся. Иона, голубь потаенный. Даже собирался повидаться с ним. Просто война. Это сложно объяснить, мой малыш. Слава России, въезд в Иерусалим. Он рисовал их встречу совсем по-другому. Совсем не так, сын мой. Куда ты смотришь? А, картины на стенах. А знаешь, что на них изображено? А это что? «Верно, Иерусалим... Вот на что теперь Мы в священном праве излагать претензию! Имеем полное основание, что бы глупец Француз ни говорил!» Но пока рано. Пока еще рано. Прямая война с Турцией нам не удалась, эти лавочники в мантиях, христианнейшие монархи, бросились защищать магометан. Надо обходным маневром... Заходить с фланга. Нужно идти с Востока, через Киргизские степи, через Великую Бухарию... Мы в священном праве. Он сам был Бухарским принцем, Алирисом, у Него была чалма. А Лаллу Рук, прекрасную *Barbe*, похитили по дороге... Нет, Он неоднократно справлялся о ней. Просто война, это сложно объяснить, сын мой. Иона, вся надежда на тебя. Держи все это. Поведешь войска на Бухарию и освободишь свою несчастную матушку... Только держи...

– Держи все. Держи все...

«Предсмертное хрипение становилось все сильнее. Наконец по лицу пробежала судорога, голова откинулась назад. Думали, что это конец, и крик отчаяния вырвался у присутствующих. Но Император открыл глаза, поднял их к небу, улыбнулся, и все было кончено».

К этому печальному свидетельству можно добавить еще несколько сведений, почерпнутых из других, менее достоверных источников.

Так, упоминалось, что перед самой болезнью государь получил таинственную депешу из Бухарского ханства. Что, ознакомившись с ней, пришел в сильнейшее расстройство, которое, вместе с неудачами войны, и стало причиной его роковой болезни. Что будто бы незадолго до этого по приказанию государя из города Лютинска был доставлен в столицу мальчик Иона Фиолетов в сопровождении приемного отца, священника о. Василия Фиолетова. Мальчик, доселе не только в столице, но и ни в каких городах, кроме Лютинска, не бывавший, с любопытством разглядывал дома и задал своему приемному отцу немало вопросов об архитектуре, на которые священник только шурил глаз и отвечал невпопад цитатами из Священного Писания. Будучи доставленным во Дворец, в Мальтийский зал, мальчик, однако, не был принят государем. Как утверждают, дойдя до входа в зал, государь повернул обратно, бормоча: «Нет, только в Вифлееме... Иначе нельзя». Немногочисленная свита, сопровождавшая государя, почувствовала в этом тайну. Впрочем, государь велел щедро наградить гостей из Лютинска; перед тем как тронуться обратно, они гуляли по столице, Ионушка снова теребил о. Василия своими вопросами, а тот снова отмалчивался в желтую, с проседью, бородку.

Тогда же, а может, и раньше государь соизволил оказать вспомоществование семейству Варвары Петровны Маринелли, пылкое прошение которой, как известно, в свое время удержало государя от вынесения одного жестокого приговора. Благодеяние государя оказалось весьма своевременным: семья Триярских находилась в самом жалком состоянии. После изве-

ствия о похищении Вареньки и исчезновении в степях Николеньки матушка, Елена Васильевна Триярская, слегла совершенно; дом, державшийся все годы на хозяйственном гении матушки, пришел в упадок; утешать ее в скорбях приходит Анна Вильгельмовна, ставшая ее подругой.

Впрочем, было у Триярских и одно радостное событие, хотя и оно, при близком изучении, несло в себе что-то тревожное. В ночь перед Рождеством 1852 года в доме Триярских был найден мирно спящий отрок. Он был обнаружен лежащим недалеко от елки, которую семейство, несмотря на все горести, продолжало убирать к Рождеству. Отрок этот оказался не кем иным, как Левушкой Маринелли, умыкнутым ровно три года до того и с тех пор считавшимся пропавшим. Каким образом отрок был возвращен обратно в родное гнездо так, что этого не заметили ни прислуга, ни домочадцы, осталось загадкой. Не удалось также выяснить, где Левушка находился все эти три года. На все расспросы он молчал, и никакие просьбы и даже угрозы это молчание сломить не могли. Левушка вообще говорил мало; из избалованного ребенка он превратился в бледного, сосредоточенного подростка. Язык его сделался просто-народен, а манеры до того демократичны, что Триярские только за голову хватались. Впрочем, эти недостатки в нем скоро изгладились, однако другие, более тревожные черты удержались в характере, видимо, надолго. Так, он стал набожен и помногу молился, особо почитая икону с Рождеством Христовым. Полюбил сочинять какие-то фантастические истории, или, как он называл их, «сказки». Кроме того, он упросил приобрести инструменты для вырезания по дереву; когда же таковые были приобретены, оказалось, что Левушка чудесно вырезает разные фигурки и вообще славно плотничает, хотя на вопросы о том, где и как он овладел начатками этого ремесла, – отмалчивался. Было решено пустить юного Маринелли по Николенькиной линии – отдать обучаться художеству. Тут как раз пригодились Высочайшее покровительство – отрок был принят в Академию на казенный кошт и начал быстро продвигаться в учебе. Особенно нравилось ему рисовать различные русские узоры, фантазировать резные наличники и коньки. Первые его самостоятельные проэскы, исполненные в русском стиле, совершенно удовлетворили наставников. Правда, некоторые указывали на избыток декоративности и узорочья, но вскоре именно такая узорчатость вошла в моду.

В последние дни свои вспомнил государь и о законном супруге Варвары Маринелли. Но тот, как оказалось, процветал и без высочайших милостей. После загадочной гибели своего друга Афанасия Казадупова Алексей Карлович совершенно преобразился. Прежний образ жизни был оставлен, участие в эфемерной комиссии забыто; Маринелли принялся служить и в кратчайшее время дослужился до градоначальника. То есть для формы это место еще занимал Саторнил Самсонович, однако всему Новоюртинску уже известно, что Пукирев – лишь тень, отбрасываемая Маринелли и бледнеющая с каждым днем. Прежний градоначальник все время проводит в карточных играх, на которых, как говорят, проиграл остатки ума. Маринелли же сотворил из себя Бонапарта и прибрал весь Новоюртинск к рукам. Совершил несколько дерзких вылазок в степь, где жестоко расправился с остатками армии бека Темира, а его самого захватил в плен, хотя и без Англичанина. Маринелли лично допрашивал пленного и, как говорили, чуть ли не под пыткой выведал от него нечто касаемо исчезнувшей супруги, Варвары Петровны, и ее братца. Но что именно он выведал, неизвестно, поскольку сведениями Алексей Карлович ни с кем не делился. Он вообще сделался молчалив, а если говорил, то как-то вяло и серо. Жил обособленно от всех, в монастырской простоте, хотя ходили слухи, что под своими апартаментами устроил еще один подземный этаж, с мебелью и кальянами, где завел себе отчаянный гарем. Оказавшись ночью случайно возле жилища Маринелли, прохожие слышали откуда-то снизу музыку и вакхические возгласы. Говорили также, что вроде товарищем в этих оргиях ему служит Саторнил Самсоныч, которому эти восточные проказы пришлись по вкусу. Однако это уже чистые слухи, да и передаются они с опаской – настолько велика стала власть Алексея Карловича, просто мистическая власть какая-то!

Так государю стало известно в общих чертах почти обо всех персонажах этой истории. Только в отношении самой Вареньки и ее брата сохранялся туман. И хотя депеша из Бухары проливала некоторый свет, свет этот, если судить по вздоху, вырвавшемуся у государя, был скорее печальным. Последовавшая затем болезнь и кончина смешали все карты. Депеша затерялась; затерялся и отчет особой комиссии, созданной государем для розысканий о секте Рождественцев; известно только, что комиссия сочла эту секту несуществующей, то есть существующей исключительно в фантазии. Вообще новый император не сильно входил во все эти подробности. На дворе стояла новая эпоха, эпоха очистительной либеральной грозы, фабричного станка, панславянской идеи и новых завоеваний на Востоке; эпоха новой моды на украшение волос из гирлянды голубых цветков, наложенной в двойной кружок из серебряной блонды, причем с гирлянды спускается множество серебряных пестиков... Перед новой хлопотливой эпохой померкли дела и личности эпохи прежней, которую стало модно ругать за скуку и деспотизм, а царствование Николая Павловича называть не иначе как «тяжелым сном», от которого теперь пробудились. Впрочем, кто поручится, что все описанное здесь – и исчезновение Серебряной звезды, и суд над петрашевцами, и прочее, и прочее – не есть сон, приснившийся некой причудливой голове?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.